

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Тимур Зульфикаров
(г. Москва)

КНИГА ДЕТСТВА ИИСУСА ХРИСТА

Тимур Касымович окончил Литературный институт в 1961 году. Автор 20 книг прозы и поэзии, тираж которых превысил миллион экземпляров. Широкую известность приобрели его романы о Ходже Насреддине, Омаре Хайяме, Иване Грозном, Амуре Тимуре и монументальное повествование о жизни и загробных хождениях современного поэта — «Земные и небесные странствия поэта». Это сочинение было отмечено премией «Коллетс» (Англия) «За лучший роман Европы-93». Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» «За выдающееся художественное произведение русской литературы» в 2004 году за книгу «Золотые притчи Ходжи Насреддина». Премии «Лучшая книга года» в 2005 году за роман «Коралловая Эфа». Премии Антона Дельвига (2008), премии «Хартли-Мерилл» (Голливуд) за лучший сценарий (1991).

Много и плодотворно работает в области драматургии театра и кино. Автор сценариев более 20 художественных и документальных фильмов, многие из которых отмечены наградами национальных и международных фестивалей. В том числе: «Человек уходит за птицами» (реж. А. Хамраев, 1974) — Международный кинофестиваль в г. Дели. Приз «Серебряный Павлин» за сценарий к фильму «Черная Курица, или Подземные жители» (реж. В. Гресь, 1980). Главный приз Московского Международного кинофестиваля «Миражи любви» (реж. Т. Океев, 1986) — приз «Золотая Сабля» — Международный кинофестиваль в г. Дамаске.

Регулярно печатается в газете «Завтра».

«Выслушайте меня, благочестивые дети, и растите, как роза, растущая при потоке. Издавайте благоухание, как ливан, цветите, как лилии, распространяйте благовоние и пойте песнь»

СИРАХ XXXIX 16—18

«Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то думаю — и самому миру не вместить бы написанных книг»

ИОАНН XXI 25

«В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господа неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам»

ОТ МАТФЕЯ XI 25

Афонский монах позвал меня и сказал:

— После Золотого и Серебряного века русской поэзии вдруг явился век Алмазный — твоя поэзия. Господь наш дал тебе алмазное перо. Хватит тебе заниматься

литературой. Напиши о Детстве Иисуса Христа, нашего Спасителя. Алмаз режет камень. Пусть простые Слова твои будут, как высеченные, выбитые на камне.

Я сказал сокрушенно:

— Батюшка, непосильная ноша. Не для человека. Кому Господь дал алмазное перо рассказать, хоть смутно, об этих затерянных алмазных днях? О том Святом Агнце? О том Отроке вечноюном, вечновесеннем? Ты видишь — я только подумал о Нем, как слезы застилают глаза... Разве Святое молчанье Евангелистов не выше всех поэтических видений и фантазий?

Монах сказал:

— Две тысячи лет человечество всматривается в те Святые первоначальные Дни Детства Христа! Во Дни Святого Гнезда и Святого Птенца! И ты взглядишь! Ведь эти Дни были. Господь даст тебе мимолетно свято увидеть те ускользающие, обветренные Дни, Дни, Дни, когда Спаситель был еще более Человеком, чем Богом... Из бездны, тьмы времен вдруг явятся те пресветлые Дни. И уж невозможно будет отойти, отлепиться, отстраниться от Них всем человекам на земле... Только очисти душу от суеты, как древнее зеркало от жемчужной пожирающей пыли...

Я сказал:

— Отец, пыль столетий пожирает не только глаза людей, но и зеркала... А тут пыль тысячелетий... Как глядеть через нее?

Вот он — тысячелетний песчаный хамсин, хамсин — Великий Ветер Пустынь!.. Ветер непобедимого Забвенья... Как узреть Те Дни через него?.. Хамсин, хамсин, лишь ты вечен и неизменен... И две тысячи лет назад ты стоишь, течешь летучими песками над Назаретом...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...Хамсин, хамсин, ты вечен и течешь над Назаретом...

— Ах, иму, иму, мама, мама, маа! Как сладко пахнет в хамсине сирийская снежная роза, роза! На крыше назаретского нашего домика, вылепленного из глины и дикого острого камня.

И стены домика похожи на наши рваные и оттого еще более родные одеяла.

Мама, мать, как роза попала на крышу? Отец мой Иосиф посадил ее на крыше? Иль ветер занес семя ее? Я вдыхаю ее аромат. Тяну телячьими ноздрями. Я встал на колени, склонился над розой над самым краем крыши и дышу ароматами.

Тогда Мать говорит:

— Сын, ты уже давно дышишь розой. Сходи с крыши.

Он говорит:

— Мама, я сойду, когда осыпятся все лепестки... Они такие недолговечные. Так быстра весна в Галилее... Ветрена... Хамсин пожирает ее...

Она говорит:

— Ты ничего не ешь... Похудел от этой розы... от хамсина слепого...

Он говорит:

— Мудрецы говорят, что в раю люди ничего не едят, а только вдыхают ароматы вечноцветущих деревьев и кустов... Я в раю, мама? Я хочу, чтобы все люди были в раю, и добрые, и злые... Люди вышли из рая и идут в рай. Жизнь — это мост между раем и раем. Все идут в рай, и все будут в раю... И добрые, и злые... Ада нет в небесах... Ад только на земле...

Он говорит:

— Вчера по Назарету проходил персидский караван с хной, басмой и горной бирюзой. Перс-зороастриец сказал: «Рай находится у подножья наших матерей...»

Караван ушел бесследно, остались только эти Слова? От всех караванов остаются

только Слова? Иму, иму, мама, пока я не вырос, пока я брожу у твоих колен, пока я дитя — я в раю.

Царство божие у колен матерей? Царствие божие среди детей?.. А раввины говорят, что рай — это награда за гостеприимство... Но этого мало...

Хамсин, хамсин вечный стоит над Назаретом... Как быстротечна роза, как скоротечна весна в хамсине... Иму, и мы уйдем, опадем, как роза, а хамсин будет веять вечно... И мы станем хамсином, хамсином... вечным... вечным...

...Лепестки розы осыпались от набежавшего ветра. Лепестки осыпались, и Он сошел с крыши к Матери своей.

В раю не опадают лепестки... В раю нет хамсина...

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Абу, абу, отец, отец мой! Старый, покосившийся Иосиф в дряхлом таллифе с древнеиудейскими голубыми кистями — «цицит» на краях, согласно Закону Моисея, но не в простых, пальмовых, а в кожаных римских сандалиях! Ах, отец мой! Откуда у вас эти кожаные сандалии патрициев, ведь вы простой плотник? Кто в сиятельном Риме слышал о пыльном Назарете?.. Но ноги ваши бегут к Риму? К патрициям сонным с вечно сладкими губами... которые они хищно облизывают и хотят облизывать до смерти, и готовы погубить мир для этого. Абу, абу, отец, после запаха снежной розы так терпко, тепло пахнет потом ваш таллиф, на котором всегда блестят и колотся мелкие стружки и щепки от обструганных деревьев, когда вы делаете плуги и ярма. Отец, когда Господь дает человеку мудрость в детстве иль в молодости его, то зачем ему старость с ее печалью слезной и болезнями неизбежными? Ведь старость дана для мудрости. А если мудрость приходит в детстве, то зачем юность и зрелость мужа, и ветхость старца? Эллины говорят, что Господь забирает своих мудрецов, любимцев в молодости, чтобы избавить их от мук земной жизни. Я хочу уйти к Господу на детских упругих ногах, а не на старых, шатких, отец...

Мальчик печально глядит на отца, на его изношенные ноги в сизых венах. Он едва доходит отцу до живота.

Иосиф невысок, но крепок, широк, как старая олива. Плотнику нужно крепкое, приземистое тело.

Иосиф говорит:

— Кто сказал тебе эти Слова? В каких синагогах фарисеи, саддукеи, книжники-соферимы сказали тебе это? Иль Моисей в пустыне иль на Синае говорил? Иль царь Давид среди стад пылящих? Иль Илия среди шатров бедуинов?

— Отец, и что, есть люди, которые получают мудрость не от людей, не от Книг, не от школ земных мудрецов, а от Бога? а от Небес?

Как одинокие пастухи, которые в ночах говорят с овцами, с травами, с камнями, с водами, со звездами и с их Творцом? И таких ненавидят человеки и хотят убить, как чужих.

Отец, и что я так возлюбил пастухов, и бегу к ним на горы, и в доли прохладные их. А в больших городах гнездятся смерть и диавол. И я не хочу никуда уходить из нашего малого Назарета, а только к пустынным, молчаливым пастухам галилейским...

Отец, однажды шел близ Назарета китайский караван с барусовой камфарой. И там сидел на верблюде китаец-даос с косой. Глаза его были закрыты, и он сладостно играл на свирели.

Я сказал ему: «Учитель, куда идет твой караван?» Он сказал: «Я никуда не иду. Я

недвижно сижу в Китае на крыше фанзы недвижимой моей... Это барусовая камфара идет, кочует...»

И еще он сказал: «Бойся больших городов и далеких путешествий...»

Отец, я знаю, что все дороги и тропы из Назарета идут к смерти моей... И зачем рожденный для бесед с Господом должен идти к людям?.. Пророк должен беседовать с Богом, а не с народом...

— Чадо! вот змея мудра потому, что всем телом лепится, льнет, струится по земле. И не ползает далеко, а зиму и лето проводит в жилище своем. А глупые птицы перелетные летят над землями и народами, и многие охотники убивают их. Чадо! Сын мой! будь как змея, а не птица...

— Отец, но я возлюбил птиц... Вот они!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Чадо! Чадо! Сын мой, Иешуа, Иисус, ты где?

— Абу, абу, отец, отец, опять я на крыше камышовой дома нашего, где земляца для прохлады насыпана, и вот роза снежная взялась и поднялась тут.

Отец, тут я птиц кормлю, и голуби берут с руки моей прирученно. А горлицы, и черные дрозды, и жаворонки хохлатые пугливы и клюют с земляцы на крыше хлеб разбросанный мой, и пьют воду из двух кувшинов глиняных...

Отец, глядите, глядите,— а весенние перелетные великие птицы, журавли и аисты, с ликующего аметистового неба слетают на малую крышу мою и плещутся крыльями усталыми, покрывая бедную крышу нашу...

— Чадо, чадо, гляди — и что птицы тысячелетние свои пути небесные оставили, и сходят с путей, и садятся на крышу нашу?

О, Боже! Сын, иль такое тепло, ласкание, любовь идут от ладоней Твоих, и птица кочевая, осторожная чует эту любовь, восходящую, как пар от вешней земли, и сходит с путей своих.

О, Боже! А потом человеки пойдут, сойдут с путей своих тысячелетних и пойдут за Тобой, Дитя, Чадо Авраамово, аки эти птенцы смиренные...

О, Боже! Но я не доживу, не увижу, не пойду за Тобой...

— Отец, отец, я так люблю гладить птиц по перьям их. Всегда я хотел погладить летящую птицу, иль стрекозу парящую, иль горлицу причудливую, затейливую, иль жаворонка по хохлатой головушке... И вот птицы пришли на крышу мою, и я глажу их. И их множество крылатое, трепещущее, и тесно мне от птиц слетающих...

— Чадо! Сын мой, уже хлеб и вода кончились в доме нашем...

— Отец, но есть еще тайное, сладкое, дурманящее сирийское вино в медном хуме-кувшине вашем... То вино, которое по римским законам дают осужденным на казнь на кресте, чтобы смирить муку их... И мне будут давать...

Но этих слов Иосиф не слышит... Слышит... Иосиф смиренно опускает голову, и страждет, и шепчет неслышно, для себя:

— Мальчик, откуда Ты знаешь о кресте и вине крестном?

О, Боже! как хорошо, что я не доживу до тех дней, до того Креста, до того вина... А Мария Матерь доживет... а жены сильней мужей... а я стар и не увижу...

О, Боже!..

— Отец, отец, куда ушли вы? Давайте дадим птицам крестное вино, и они станут пиаными и добрыми, как наш вечнопианый сосед Малх, служитель храмовый, книжник-соферим-«кипай». Который блаженно закрывает глаза, когда проходят молодые жены и девы, иль накидывает на голову глухое покрывало, чтобы не соблазниться, не искутиться, и оттого слепо ударяется, тычется больно о стены домов и ограды ост-

рые, но не впускает в душу древний соблазн, появляющийся грешных мужей и жен. О, лучше избить слепое тело, чем искушить праведную душу. Да, отец?..

Мальчик улыбается на крыше среди птиц несметных.

— Отец, а вы соблазнили Матерью моей?..

И тут слезы явились в очах Дитя и в глазах отца.

— Абу, абу, отец, отец, не печальтесь, не клоните голову многоседую в жемчужных стружках, щепках плотника. Отец, я знаю тайну. В дальном, дальном поле у горы Сулем, где живут филины, и куда не ходят даже пастухи со стадами своими, Ангел Господень поведал мне...

— Чадо Небесное, и я не знал, пока не увидел того Ангела...

Мальчик, мальчик, как же Ты любишь всех живых на земле! С самого дня, как пошли Твои ножки по земле — Ты любишь всех... И как новорожденный теленок тычешься во все колени, упираешься во все подолы, как в соски млечной матери... И убегаешь со всеми караванами... И я закрываю глухо двери, когда идут караваны... Иль Тебе не хватает любви Матери и отца Твоих? И сестер, и братьев Твоих?.. Иль Ты не наш?.. И во всяком прохожем муже — видишь отца... И во всякой жене — мать...

Дитя любит всех и ждет любви от всех, а все равнодушно проходят мимо и далее любви его.

Бог — это любовь ко всем человекам.

Чадо — и Ты пойдешь искать эту любовь...

И потому мать, отец, семья, дети, народ, земля, родина, дом, язык, родня, соседи — это сладкая пыль под босыми ногами Странника Апостола Любви... Под Твоими ногами, Чадо...

Но гляди, Сын,— хлеб и вода иссякли, и птицы поднялись и ушли на пути свои. И Ты один остался на крыше среди палых перьев...

Великая Любовь ко всем — это великое одиночество...

— Отец, а птицам не хлеб и вода нужны, а любовь, а я устал ласкать их.

Отец, отец, а почему люди всегда печалются и плачут, когда видят перелетных, высоких, вольных, уходящих птиц, птиц, птиц?

По каким дальным, прошлым богам, кумирам, гнездам, рожденьям, языкам, соседям томится некрылатый человек? Что чувствует в птицах уходящих?

Какие родины вспоминает? Почему человек так неотвязно, жгуче любит этот земной мир? Потому что он много раз жил в этом мире и узнает его, как родной пыльный дом... Почему человек так любит путешествовать по миру? Потому что он ищет дом, где когда-то, в других рожденьях и землях, тысячи лет назад, был более всего счастлив и любим...

А весной птицы летят в северные снежные земли, а осенью в жаркие Индию и Персию, откуда пришли Балтасар, Гаспар и Мельхиор — Волхвы Рожденья моего.

И я пойду за весенними журавлями в северные страны и народы. И я пойду за осенними журавлями в Индию Шакья Муни и в Персию Огненного Заратустры...

— Чадо, Чадо, так долго ждали мы Рожденья Твоего, а Ты уже хочешь покинуть нас. А я уже стар и не выдержу прощанья...

Но тут на пустынную крышу опустился пеликан, летящий от потока-вади Киссона к озеру Галилейскому. И в клюве у него была живая рыба, и он сложил ее у ног Иисуса, и поднялся, полетел к озеру своему.

Тогда Иисус сказал отцу своему:

— Вы видите — он прилетел не из-за хлеба и воды. И принес нам пищу нашу...

Но тут над щедро осыпанной перьями крышей низко пролетел аист. И в клюве его маялась малая речная черепаха, и Мальчик воскричал:

— Отец, зачем аист несет черепаху? Разве жизнь ее не в воде, а в небе?

Иосиф сказал печально:

— Аист несет черепаху для птенцов своих. И смерть черепахи — их жизнь.

Тогда Мальчик, тогда шестилетний Мальчик — еще Дитя, Агнец в пуху — зарыдал... И отец удержал Его, потому что от слез и горя Он мог упасть с крыши.

Но Иисус побежал к старой пыльной акации, желтые цветы которой Он любил есть, и которые помогали от зубной боли. Он побежал к акации, на вершине которой, в ветвях раскидистых, сотворил широкое гнездо аист, и Иосиф помогал ему строить, и спугнул птицу, и осторожно, чтобы не тронуть птенца в пуховой сокровенности родильной его, снял, спас черепаху и больно оцарапался, окровавился о жесткие ветви. Но Он не радовался, а рыдал...

— Абу, абу, отец, отец, я вернул черепаху в реку, но разве вернуть всех черепах, которых аисты несут в гнезда свои, чтобы убить для птенцов своих? Отец?.. Господь?.. Ты так сотворил жизнь?.. Жизнь-смерть, жизнь-смерть... жизнь через смерть... А я не хочу смерти... Я хочу вечной жизни для всех людей, для всех зверей, для всех птиц... И для себя... Я хочу вечно сидеть на вечной крыше среди вечных птиц среди вечной весны... Господь?..

— Отец! А по римским законам — распятых оставляют на крестах, чтобы птицы расклевывали их... А птицы не будут клевать меня...

...А в маленьком каменистом, глиняном лазоревом затаившемся Назарете стали говорить, что мальчик Иисус останавливает и опускает перелетных птиц с небес...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Абу! Абу! Отец! Отец! Сегодня мне десять лет, а по древнему Закону я могу выходить к людям и учить только после тридцати лет, лет, лет. Двадцать лет мне осталось... А я не хочу, чтобы мне было даже одиннадцать лет... Лето уж раннее, уже душное, и я полюбил спать на крыше... Абу! Отец! тут звезды близки, и они жаркие, а холодные... И я люблю сонными руками воздетыми трогать, лелеять их холодные лампы, их вечные колосистые факелы прохладные. И в доме нашем душно, а на крыше камышовой веет холод от звезд, холод от Плеяд. Абу! Абу! Отец, отец, а мне сегодня стало десять лет, но когда я гляжу на эти холодные Плеяды, на это бездонное Мирозданье — я чувю, что мне десять миллиардов лет и более...

Когда я был немой младенец — я знал, я чувял эту летящую, безмолвную Вселенную и Тайны Божии Ее, и я чувял, знал, как жил до Пирамид, до Фараонов, до Авраама, до Моисея, но потом стал говорить язык мой словами человеческими, и я забыл Тайну Вселенной за словами...

Язык человеческий убивает Тайну... Вселенная нема. Бог нем. И только в немоте можно заглянуть в бездонность Его. Абу! Абу! Отец, отец, глядите, как летит, сыплется звезда во Вселенной! Отец, и что я чувю, вспоминаю на крыше камышовой нашего летящего во Вселенной домика?

Абу! Отец, и что в этой летящей, рассыпающейся, как звезда, Вселенной Грядущая Судьба моя? Грядущий Крест мой? Соломинка в звездном поле, поле, поле, божья коровка, стрекозка, муравей, травинка, звезда рассыпчатая?

Иосиф вздрагивает:

— Чадо, Чадо, и что Ты все время шепчешь о Кресте? Где Ты видел кресты эти? Что зовешь Крест в жизнь незаметную тихую свою? Сынок, Ты уже с детских лепетных лет, когда помогал мне в плотницких работах моих, тайно строил, крепил, слагал Кресты из стружек и щепок... Детские кресты...

— Абу! Абу! Отец, я так возлюбил запах свежесрубленных деревьев — кипарисов, маслин, дубов, олив, кедров, сосен-певг... Особенно терпкий материнский дух кипа-

риса, кедра и сосны-певг... Эти деревья пахнут свежим тестом хлебным. А что слаще духа перворожденного печеного хлеба, хлеба, хлеба, отец мой? Только запах матери и отца... Вот из этих трех деревьев и будет составлен Крест мой. И три Его смолистых хлебных запаха будут утешать меня на Кресте моем, отец, отец мой... И вы знаете...

— Чадо, где Ты подглядел эти кресты? На римских, кровавых, имперских дорогах, где подолгу в мухах и птицах трупоядных всяких увядают Распятые? Мальчик, Иешуа, где Ты видел эти живые придорожные Знаки, Иероглифы Великой, Проклятой иудеями, Римской Империи? Эти кровавые Слова, Буквы, Письмена всех великих Империй?

О, человеке вольный! вот ты восстал с нищим ножом в обреченных руках против журавлиных римских легионов железных в шлемах, в орлах и с широкими, мягкими, бесшумными двуострыми мечами.

О, человеке восставший! Вот ты тайно шепнул древнему другу своему ночному против Империи, против похожего на грифа-могильника императора Октавиана Августа...

И вот уже утром вынешь на забытой дороге, на кресте углом среди мух трупных, изумрудных (вот он — изумруд нищих и праведных!) и трупоедов-грифов, похожих на императора Октавиана...

— Ужель Распятый в мухах и грифах сокрушит железные легионы? и саму Империю? Ужель, отец мой?... И вот безвинно убитые встают из могил и сокрушают Империю, убившую их... Отец, отец, а кроме плугов и ярма, вы тайно, в ночах, не строили кресты? И тайные щепки не оседали в волосах и в глазах ваших? Римляне не приказывали вам? Легионы римские в шлемах, в орлах, с широкими мечами не приказывали вам?

Император Октавиан-гриф не приказывал вам?

Царь Тетрарх Ирод Антипа не приказывал вам?

Прокуратор Понтий Пилат не приказывал вам?

Синедрион первосвященников Каиафы и Анны в пурпурных широких одеждах, которые одне движутся в их недвижимой ветхозаветной жизни, не приказывал вам?

И вот слепец-отец вытачивает крест на Сына своего?..

Иосиф мается:

— Откуда Он знает? видит?..

Однажды римляне приказали ему сбить, выделать, сложить крест, и он тайно, ночью, в безлуние сотворил то.

И впервые, впервые в жизни плотничьи ножи и топоры порезали, порубили ему густо, многожды руки и вены его дрожащие во тьме — он не зажигал огней, чтоб соседи не знали.

И впервые порезал, повредил руки — и крест весь кровавый был.

Текущий алый крест тот был...

Словно его распяли на нем...

И с той поры руки его стали дрожать, и ножи его стали резать его, и топоры рубить его, и ремесло его зачахло, ибо стал бояться орудий своих, которые восстали на него...

Тогда Иосиф зовет жену свою Марию бессонную:

— Мария, мать Иисуса и жена моя... Ты вечно молчишь, когда глядишь на Чадо наше... И готова рыдать... Пойди на крышу и утешь Его под звездами, ибо я рыдаю от слов Его и заворачиваюсь зябко в ветхозаветный таллиф мой с кистями-«цицит» утомительными, словно он и кисти его могут спасти меня от зябкой бессонницы, старости моей и муки, боли за Сына моего... Господь, Господь, Яхве всемилостивый, Адонай, скоро ль возьмешь, упокоишь меня, ибо любовь отцовская беспощадная разрывает сосуды мои...

Матерь Мария безмолвная всходит на крыше камышовой рядом с Сыном своим.
Как Звезда безмолвная Она безмолвствует. Она потом будет говорить. Когда Он замолкнет. После Креста. После Святого Воскресенья.

Она знает. И бережет Слова.

— Абу!.. Отец мой, не говорите Матери моей о Смерти моей... О Кресте моем...
А Матерь моя ткет дорогой синдон и шьет погребальные плащаницы для богатых иудеев. И не знает, что шьет и ткет для Сына Своего. И отец не знает, что творил Крест для Сына Своего.

О, Отец Небесный мой! Ужель они не знают, не чувят, не ведают?..

Но! На вершине горы Сулем, где живут совы, стоит ветхая, древнезаветная, седая сосна-певг. Дети любят лазать по деревьям.

И я часто влезаю по опасным ветвям на вершину сосны, и оттуда сиреневые, млечно-малахитовые, сердоликовые бальзамические плоскогорья Кармея, Магеддо, и гористая страна Сихем, и горы Гельбоэ, и женовидная гора Фавор прельстительно, колыбельно колеблются, открываются мне и зовут растаять навек в священной мгле их вместе с древними, святыми могилами патриархов... Так хочется мне умереть, улететь с сосны и стать горами этими... Так хочется бродить здесь и после смерти. И Я буду.

Абу! Отец! Но еще я вижу какую-то гору, и на ней три креста, и трех распятых. И я гляжу через мглу гор и лет, и двух распятых не узнаю, но чую, вижу, узнаю Третьего... Отец, я не скажу вам, кто Третий...

Тут ветвь пошла, обломилась под ногами Мальчика, но Он успел нежно схватиться за другие...

Потом Иосиф ночью подрубил сосну и сказал: «Сын, сосна рухнула от древности своей. Она была наклонной, опасной — и вот обреченно упала...»

...Отец мой, абу, но Я знаю, кто Третий... Я и со свежего пня вижу... Открылось...

Но не говорите безмолвной Матери Моей...

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Абу, Авва, отец, не говорите матери моей о смерти моей... Но вот Она пришла на крышу ночную мою и льнет ко мне в звездопадах, как душистый, медовый сноп свежей пшеницы в блаженной долине Азохис...

— Иму, Матерь моя, ты пахнешь пшеницами медвяными...

Но Она безмолвная, как пшеницы скошенные, как дальные и ближние звездопады, но в зрачках Ея звезды летят, пылают, но не сторают... вечные звезды материнской любви. Китайские мудрецы говорят, что падающие звезды — это зрачки усопших матерей... они вечные...

— Иму, Матерь, мама, на свете нет любви сильней, чем любовь Матери и Сына. Только любовь к Богу превышает ее.

Но любовь матери и сына — первая и на земле, и в Царствии Небесном.

Иму, Матерь, матушко, а помните, как Волхвы привели Звезду Рождества, и с Ней смирну, золото и ладан.

Смирну принесли — как человеку, золото — как царю, ладан — как Богу...

Золото — за племя Сима...

Смирну — за племя Хама...

Ладан — за племя Иафета...

А еще они принесли персидский пурпурный мак-текун отцу моему Иосифу. Пурпурный, как одежды первосвященников иудейских...

Но мак слаще, чем их кровавые одежды, чей пурпур загустеет, увеличится от крови моей...

И отец посадил мак-текун тайно на крыше моей... Пианый, блаженный пурпур мака-текуна, умиротворяющий печаль... Но брал ли? но берет ли отец мой сок мака? сон мака? не знаю, не знаю... Подрезает ли отец мой тайно мак-текун и вкушает для изгнания печали? Иль мак-текун сам сыплется, опадает — не знаю, не знаю... Я за отцом моим не хожу, не подглядываю...

Иму! Матерь, матушко моя, мама, маа, а я вижу и доньне воспоминаю, как три дня мы бежали в Египет от царя Ирода и от приказа его избить, окровавить млечных младенцев.

И как на третий день сверкнула египетская спасительница — река Риноколура, и как в ночах все звезды падучие бежали с нами.

И все скарабеи, и все василиски, и все аспиды, и все львы, и все лани, и все пальмы, и все кедры ливанские, и все колодцы пустыни с нами бежали, бежали, бежали и нас ласкали, лелеяли и упасали...

И мы поселились в Матарее, близ Нила, где некогда под именем Осарсифа Моисей был священником... И тут я увидел Пирамиды Фараонов, и все бежали, а Они стояли.

Иму, Матерь безмолвная моя, а какие Слова родились перед этими Пирамидами? Предшествовали Им? Какие Слова стояли пред этими Пирамидами? где Они? Какие Слова эти Пирамиды поставили, родили? Кто знает? Только Фараоны и Жрецы знали Слова эти, но унесли с собой в глухие саркофаги?

И эти Слова замурованы, погребены бесследно в Пирамидах? Но и эти Пирамиды истают, сокрушатся в камни, а камни изойдут в пески.

А Где Те Слова? А Слова Моисея не станут песком и камнем забвенья?

А вдруг я скажу Слова Пирамиды Вечной Жизни?.. Матерь! А Бог был всегда. И до человека. Но Бог был нем. Но вот Он впервые заговорил с человеком. С Моисеем на Синае...

А скоро Бог заговорит и явится в живом Человеке... В Богочеловеке...

А если во Мне, Матерь?..

Мария хотела сказать Ему, что Он кощунствует, но вспомнила Ангела Господня, который явился к ней перед Его рождением, и вспомнила, что Она была единственной на земле женой, чья девья пелена нарушилась не от мужа, а от новорожденного Дитя, и с тревогой и восторгом приняла истину Его Слов.

И вот Мария молчит и только гладит Его ягнячьи кудри. Кудри льются в Ея перстах, похожих на юные изумрудные камыши бродов Иордана...

Камыши гибкие, певучие, атласные, текучие...

Блаженно, сонно агнцу, дитяти в перстах матери... Зыбко, звездно, сонно, сонно, тепло... Сонно...

— Иму... Мама... маа, я засыпаю, но в глазах моих сонных стоят те Пирамиды Фараонов под теми звездами и луною... Тогда была разлившаяся луна, как Нил в разливе... Иму! Матушко, но Ваши груди, исполненные сладчайшего родильного, кормильного, творильного млека, молока, молозива, плескались, как два Нила.

Вот они — облитые млечною необъятной луной — две материнские родильные Пирамиды стоят у губ Моих кормильно и закрывают Пирамиды Фараонов.

И уйдут, сойдут Пирамиды Фараонов, а вечно будут стоять, плескаться Пирамиды Святых рожениц, матерей земли. И за этими Святыми Живыми, Дышащими Пирамидами — я не вижу, я не видел каменных... Иль Пирамиды Фараонов — не Знаки Вечной загробной Жизни, а только Груды кормильных плодоточащих матерей...

Матерь, но почему там, в яслях ягнячьих сырых, под грудями пирамидами млековыми Вашими, почему Звезда Волхвов?

Звезда Рождества неповинного?

Звезда колыбели?
Звезда Вифлеема сразу стала и Звездой Смерти?
Звездой Херема — последнего отлученья при реве 400 храмовых бараньих оглушительных рогов, рогов? И приговора Синедриона смертного?
И эта Звезда сразу пошла за Мной от яслей Вифлеема?
И вот царь Ирод Антипа возжелал убить Меня, птенца в гнезде, и приговорил к смерти всех младенцев до двух лет. И возрыдали сыро, оцепенело млековые матери с грудями-пирамидами, и никого не стало у пирамид их опустелых. И даже праматерь иудеев Рахиль вышла из гробницы и возрыдала, усопшая, на дорогах избитых, зеленых младенцев...
Матерь!..
И вот пришли цари, от которых даже мертвые выходят из могил и рыдают громче, чем живые.
И я, младенец, слышал эти крики. И слышу досель... И при таких владыках длится жизнь моя, и при таких рыданиях и криках...
Матерь, матерь, но если б тогда, до двух лет, убили Меня, поникли бы тогда Пирамиды Ваши, но нынче уже бы утихли Вы, а не предстояло бы Вам более мучительное...
О, Господь мой!..
Но, Матерь, Вы со Мной на крыше детства моего, и блаженно, сонно мне, и отстраняю я дни грядущие мои... Но, Матерь моя, не говорите старому отцу моему о Звезде Смерти, кочующей ближе и ближе над головой моей...

...Спит мальчик Иисус на крыше под звездами, и Матерь безмолвная преклонилась над Ним...
Она потом отворит богоглагольные, богоколокольные лепестки-уста... После Креста.
А пока вешний, теплый, назаретский оливковый ветер вместо одеяла веет над Ними...



Ирина Кедрова
(г. Москва)



ПРЕД ИКОНОЙ ВЛАДИМИРСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Прозаик и драматург. Член Союза писателей России и Творческого клуба «Московский Парнас».

Я смотрю в глаза Богоматери и вдруг ясно вижу: темный храм, заполненный страдающими людьми. Здесь все: богатые и бедные, мужчины и женщины. Стон стоит, молятся люди перед иконой: «Мать Божья, спаси и сохрани от ворогов».

В углу храма сидит женщина лет тридцати. Ее светлые волосы пробиваются сквозь белый платок. Голубые глаза наполнены слезами и страхом. Не за себя она боится — за детей своих. Рядом два крепких подростка двенадцати и девяти лет. В колени женщины прячутся девушки: одной лет семь, другой — шесть. Женщину зовут Ириной. Думает она о трудной доле, выпавшей всем, собравшимся в храме, вспоминает свою жизнь.

Ирина была счастливой женой и матерью. Много лет назад сильный и смелый Петр, сын воеводы князя Константина, взял ее в жены. Любили друг друга так, что песни можно слагать о той любви. От любви каждый год рождались дети, только их забирал к себе Господь: кого сразу, кого чуть погодя, давая насладиться счастьем матери да отцу. Плакала Ирина, провожая в последний путь умершего дитятку:

— Ой, ягодка моя светлая, зачем же ты нас так рано покинул?

— Не плачь, Иринушка,— успокаивал муж.— Видно, Господу так угодно. Малыш наш точно в рай попадет. Он и грешить-то еще не умел.

Четверых детей Господь не взял. Василька и Глебушка росли, похожие на отца. Василька — высокий, Глебка — коренастый. У обоих волосы черные, кудрявые. А глаза у старшего — карие, у младшего — голубые. Мать любит их темными вихрастыми губами, сильными руками, размашистыми плечами.

— Батюшка,— требовательно говорит Василька отцу,— мне пора с тобой в поход отправляться. Что я дома сижу, когда город наш славный защищать надо?

— Погоди,— отвечает отец,— не время еще. Немного подрасти, чтобы конем и копьем управлять.

— Я лучше всех ребят на коне держусь, и копьё метать умею.

— В бою сила большая нужна, ее тебе скопить надо.

На этом разговор и заканчивается. Ирина не против удали молодецкой, только не хочется ей с сыном расставаться.

Глебушка тоже силой похвывается, но больше мечтать охоч и желает в далекие страны отправиться, мир посмотреть. Подружился с купцом новгородским, пропадает в купеческой лавке часами, слушая рассказы о дальних землях.

— Матушка, был бы я купцом, все края бы объездил. Привез бы тебе украшения и наряды царские. Ты бы красавицей по дому ходила.

— Матушка твоя,— вставляет отец, недовольный купеческими настроениями сына,— и без нарядов заморских красавица.

Он прижимает жену к себе так, что косточки трещат, но от этого не становится больно, а приятно растекается по телу призывная на мужскую любовь волна.

Ирина не соответствовала облику русской стыдливой женщины, она была пламенем, разгоравшимся от мужниной искры. Впрочем, и стыдливость ей присуща. Куда денешься от обычаев и воспитания? И все же, глядя на нее, Петр любовно повторял:

— Ты, Ирина, не такая, как другие бабы. Потому, наверное, и люба мне.

Нет, не совсем обычной была их семья, и не такими, как у других, были супружеские отношения. В любви зарождались дети, в любви и росли они. Две дочки-погодки внешне более походили на мать — светловолосые, голубоглазые, а по характеру различные. Евдокия — тихая и рассудительная, первая помощница в семье. Зря слова не скажет, но что решит, то накрепко, не свернешь ее с пути. Настасья — веселая щebetунья и выдумщица. Отец в них души не чаёт, задумываясь уже о том, с кем через дочерей породниться.

Дом Петра и Ирины славился достатком. Петр, так получилось, вышел из-под власти князя Константина и служил князю Юрию. Два брата Всеволодовича не ладили между собой. Константин, старший сын Всеволода,— ученый книжник — дружил с ростовскими боярами и желал первенства Ростова. Отец передал княжение второму сыну — Юрию, и началась между братьями борьба не на жизнь, а на смерть. Победил Константин, и Юрию пришлось бежать из Владимира со своей семьей. Только недолго длилось изгнание, года через два старший брат умер и на престоле Владимирском вновь восстановился Юрий.

Петр тогда был молодым и способным к ратному делу. Это и привлекло к нему внимание князя, стал он брать молодца во все походы и сражения. Счастливая звезда светила Петру. Она же привела его в дом родителей Ирины, которые с радостью выдали дочь за княжеского любимца.

Впервые увидел он свою избранницу у ворот Святой Ирины, когда въезжал в город с группой всадников. Молодой воин обратил внимание на смелую девушку, внимательно разглядывавшую всадников.

— Кого высматриваешь, красавица? — хотел смутить незнакомку Петр своим вопросом.

— Жениха, конечно,— смеясь, откликнулась девушка.

— И кого же ты в женихи хочешь?

— Храброго, сильного и добросердечного,— ответила та и, развернувшись, пошла прочь.

Непривычно было слышать от молоденькой горожанки такую речь. Девушки все больше по домам сидели. Знатных дочерей родители на улицу не пускали, а тут не только по улице ходит, но и в разговор вступает. Кто она такая, Петр не знал и жалел потом, что не выспросил. А судьба привела его в дом Михайлы, знатного владимирского дружинника, с которым не раз вместе сражались в сечах. Там-то и повстречалась покорившая его сердце девушка, оказавшаяся сестрой приятеля.

Пятнадцать лет прожили Петр и Ирина счастливо. Она вела хозяйство, растила детей. Смелая и упрямая, добилась от мужа значительной свободы в решениях и поступках. Любила свой дом и город.

Часто гуляла вместе с детьми, заводя их в заповедные места. Белокаменная башня с двумя боевыми площадками и высокой аркой, построенная много-много лет назад и прозываемая Золотыми воротами, украшала въезд в город. Над рекой Клязьмой возвышался Успенский собор: огромный, казавшийся еще более значительным благодаря галереям, пристроенным с трех сторон. Поражало и удивляло странное сочетание тончайшего, будто женского, пояса, охватывавшего храм, мощных стен и гроз-

ных шлемов, глядящих сверху. Стоял храм, словно храбрый воин, готовый сразиться за землю русскую.

А чуть поодаль красуется любимый собор Ирины, названный в народе Дмитриевским. Стоишь перед ним и любишь невиданными украшениями. Растения, животные, всадники, чудища наполняют твой взгляд, устремленный на стены, и не встречается ни одной повторяющейся фигуры.

— Матушка, красота такая, что хочется встать перед храмом на колени и молиться! — говорит Евдокия.

Ирина думает, откуда возникают у девочки такие чувства? Видно, начала взрослеть, ищет себя в людском мире. «Ох, — думает мать, — не заметишь, как вырастет и покинет отцовский дом. Уже и жених есть у Евдокии, сын воеводы князя Владимира из Москвы.

А на главном торжище городском чего только ни увидишь. Богат город Владимир, едут сюда купцы из далеких стран и других городов. Владимирские мастера крепко держатся за славу первых русских искусников. Но постоянные княжеские ссоры, приводящие к боевым стычкам, мешают жителям насладиться красотой и богатством города. Да еще набеги иноземцев.

В год рождения Василька появились в русских землях неведомые доселе татары. Разные слухи о них ходили. Одни говорили, что татары — ратники плохие и уважения недостойны. Другие, и среди них Петр, убеждали, что, напротив, они — воины опытные, а стреляют намного лучше половцев.

Тогда, рассказывал ей муж, собрались русские князья на совет и порешили объединиться для защиты земли русской. Да владимирского князя Юрия Всеволодовича на совет не позвали. Обиделся тот сильно и не пошел на всеобщую брань.

На реке Калке первый раз в большом бою встретили русские воины татар. Погибли многие. Один князь — Даниил — раненный копьем в грудь, в пылу битвы не заметил, что кровь сочилась из него. Другой — Мстислав Киевский — огорождался кольем и бился три дня, не сходя с места. Татары обещали ему за храбрость свободу и жизнь. Поверил князь — за то и поплатился: изрубили его. Несколько захваченных в плен князей нехристи удушили под досками, на которых развернули гнусное пиршество.

В том сражении русским воинам изменили половцы: почувствовав скорое поражение, стали убивать русичей, захватывая их коней и одежду.

С горечью говорил Петр о битве на Калке, сожалея, что его там не было. Ирина принимала его чувства, хотя в душе радовалась: жив Петруша, а в битве на далекой реке наверняка бы погиб.

Несколько лет слуху о татарах не было, и вдруг поздней осенью вышли они внезапно из густых лесов близ Рязани, требуя от рязанских князей десятую часть всего достояния: людей, коней, товаров. Всего-всего. Рязанский князь Юрий ответил им: «Когда нас в живых не останется, тогда все и возьмете». А затем направил во Владимир послов с просьбой о помощи. Отказал Юрий Всеволодович, надменный в своем могуществе, один хотел управиться с татарами.

— Эх, не надо бы так, — с горечью выговорил Петр-воевода. — Надо бы всем вместе на врага навалиться.

Да разве послушает его князь, уверенный в силе и в величии своем?

А события развивались трагично, с трудом добираясь до ушей жителей Владимира.

Послал рязанский князь к Батью сына своего Федора с богатыми дарами и предложением о примирении. Обрадовался татарский хан легкости победы, да кто-то донес ему, что жена Федора — красавица писаная.

— Ну-ка, привези ее, дай полюбоваться красотой женскою.

— Не бывать тому, — ответил Федор. — Не показывают христиане своих жен злочестивым язычникам.

— Тогда сам умрешь, как собака,— разозлился Батый и повелел убить княжеского сына и посланника.

Евпраксия, жена Федора, узнав о гибели мужа, выкинулась из высокого терема, держа на руках младенца.

Тяжело на сердце Ирины. Никак она в толк не возьмет, что заставило мать убить крошку-сына? Наверное, жить без любимого невозможно. Раздумывает Ирина, что же с ней будет, если ее Петруша погибнет? И гонит от себя эту мысль треклятую.

А события разворачиваются страшные. Уничтожив Рязань, пошли несметные полчища дальше, сжигая русские города. Вот и Москва пала, в которой управлял Владимир Юрьевич, сын великого князя.

Собрал князь Юрий совет и сказал сыновьям и племянникам, детям Константиновым:

— Сыновья мои, Всеволод и Мстислав, оставляю вас для защиты Владимира, а сам поеду с малою дружиной собирать подмогу.

— На кого же ты рассчитываешь, отец? — спросили сыновья.

— Думаю призвать братьев своих, особенно надеюсь на Ярослава, он — умный и храбрый. С вами оставлю воеводу Петра. Успокойте горожан. Пусть, не тревожась, помощи дожидаются. За нашими стенами никакой враг не страшен. Я же быстро обернусь и ударю в спину татарскую.

После этого разговора пришел Петр домой туча тучей. Собрал совет семейный. На каждого ему хотелось посмотреть, каждого приласкать и подбодрить.

— Тяжелое время наступило. Мы с князьями станем готовиться к отпору вражескому, а вы, дети, мать слушайте, ей помогайте.

— Нет, отец,— проговорил твердо Василька,— я с тобой пойду. Пора и мне встать на стены города.

— Пора, сын, только у города есть и без тебя защитники. Случись что со мной, кто в семье главным будет? Кто мать и сестер защитит? Ты в доме за старшего остаешься.

Ирина неслышно плакала. Чужало сердце беду. Но слов успокоительных найти не могла, потому и молчала. Смотрела на сынов своих, готовых к бою, на дочерей, входящих в расцветную пору, на мужа, сурово глядевшего. И от мужниной суровости становилось еще страшнее и безысходнее.

Как остались вдвоем, обнял Петр Ирину, прижал к себе.

— Ладушка моя светлая, вся моя жизнь тобою наполнена. Да, видно, настало время расставаться.

— Ты чаешь, что мы больше не увидимся?

— Не знаю. В Рязани татары ни одного жителя в живых не оставили. Всех убили, зарезали, сожгли. Сказывают: живых людей к бревнам привязывали и стреляли в них для развлечения. Ошибся князь, когда отказал в помощи. Страшная расплата нас ждет за ту ошибку.

— Любый мой, сердце болит за тебя и детей. Да ты за нас не бойся. Господь не допустит нашей гибели.

Провели они ночь свою. Счастливой была та ночь, потому что любили друг друга мужчина и женщина. Однако тяжелой тоже была, поскольку понимали — последнею может стать. И не знала Ирина, что в ту ночь зародилась в ней еще одна жизнь, так и не увидевшая земного света.

А наутро, чуть рассвело, обнаружили жители города, что вокруг, куда глаз ни кинь, стоят татары ненавистные, шатры свои укрепляют.

Князья Всеволод и Мстислав вместе с воеводой и дружинниками поднялись на городские стены и били стрелами приближавшихся захватчиков. «Не стреляйте, не стреляйте!» — кричали те, но вовсе не от испуга. К Золотым воротам подъехал не-

большой отряд. Выдвинули вперед пленного — измученного русского воина, и узнали в нем Всеволод и Мстислав юного брата своего Владимира, князя Московского.

— Узнаете ли князя? — крикнул татарский предводитель.— Передайте князю Юрию, что мы на переговоры зовем его. Откажется — сына убьем.

— Братья! — крикнул, собрав последние силы плененный Владимир.— Лучше умереть перед Золотыми воротами за Богородицу, за дело наше правое, нежели быть в их воле нечестивой!

Слезы катились по щекам тех, кто стоял на городских стенах, и желание немедленной битвы охватило всех.

— Немедленно идем в бой! Лучше погибнуть, нежели смотреть на такое злодейство,— твердо сказал Всеволод.

— Позволь, княже, слово молвить,— не согласился с призывом Петр, опытный воевода.— Юрий Всеволодович отправился за войском. Надо ждать. Князь спасет столицу.

Татары поняв, что владимирцы ворота добровольно не откроют, стали готовиться к осаде. Прошло несколько дней, горожане наблюдали со стен, как злые вороги обнесли город бревенчатым тыном, подвезли стенобитные машины, подготовили лестницы.

Ожидая самого худшего, князя с семьями собрались в соборе Богоматери и потребовали от епископа Митрофана, чтобы тот постриг их в монахи. Обряд был быстро совершен.

Горожане, наблюдавшие происходящее, молили небо о спасении. Ирина молилась перед иконой Божьей матери о своем муже и детях, и ей казалось, что по щеке Богоматери течет, не останавливаясь, святая слеза.

«Матерь божья,— страстно шептала Ирина,— если нельзя нам остаться живыми, помоги уйти в мир иной без мучений. Пусть Петр будет внезапно пронзен вражеской стрелой. Только бы его не рубили и не мучили. Пусть дети примут смерть быструю и легкую. Хорошо бы девчушки ничего не поняли. Хотя рассудительная Евдокия давно все поняла, а Настенька пусть не спознается с горечью взрослой. Матерь, заступница, если необходимо принять боль великую, я возьму ее на себя».

В холодный февральский день, в воскресенье, начали татары штурм города. Полетели на его улицы зажженные стрелы, приносившие разрушительный огонь. Били в крепкие каменные стены страшные орудия так, что гул стоял несмолкаемый.

Большая часть горожан собралась в храме Богоматери, все молились о спасении земли русской от страшного врага. «Коль не суждено нам спастись, пусть не погибнет земля русская и народ русский. Да не погибнет навеки слава наша!» Епископ Митрофан укреплял дух людей: «Братья и сестры, не бойтесь. Господь защитит нас от врагов-нехристей. Он всех нас возьмет к себе! Молитесь усердно!» Ирина с детьми молилась.

К полудню татары ворвались в Новый город с нескольких сторон: у Золотых, Медных и Волжских ворот, а также у ворот Святой Ирины. Князя с дружиной бежали в Старый город.

Татарские воины никого не оставляли в живых. Текли по улицам реки крови городских защитников. Начался разбой. Захватчики тащили все, что попадалось на пути. Но главное богатство, и они это знали, хранилось в русских соборах. Там было золото, серебро, драгоценные украшения, древние княжеские одежды, роскошные оклады икон и книг. Рвались захватчики в храм Богоматери, пытались сбить его крепкие запоры, поджечь его стрелами, чтобы жители, спасаясь от дыма, открыли им двери. Внутри собора начался пожар, дым закрывал людей друг от друга.

Просила у Господа защиты княгиня Агафья, жена князя Юрия. Увидев Ирину,

подошла к ней. Никогда бы раньше гордая княгиня не заговорила с женой воеводы.

— Вижу и ты с детьми здесь,— тихо сказала она.— И мы все собрались: дочь моя, снохи, внучата. Я-то пожила на земле, а дети? — горько залилась княгиня слезами.— Что же делать?

— Ждать, матушка-княгиня. Одна у нас забота: ждать, надеяться и молиться.

— Господи! — раздался громогласный голос епископа.— Простри невидимую руку свою. Прими в мире души рабов твоих. Благослови людей на смерть неизбежную.

— Матушка, матушка, почему так трудно дышать? — плакала Настенька.

— Ничего, ягодка моя, потерпи. Скоро полегче будет.

— А где батюшка? Матушка, он нас спасет? Правда?

— Обязательно, Настенька, он нас в беде не оставит.

Огонь разгорался все сильнее, и Ирина молила Бога, чтобы дети ее скорее умерли, не испытывая страшную муку.

Василька и Глеб протиснулись сквозь людей, задумав вылезти из храма где-то сверху. Ирина следила за ними глазами. Вдруг огромная горящая балка сорвалась и рухнула вниз там, где находились ее сыновья. Страшный крик потряс храм. Огонь, взметнувшийся вверх, сжигал людей, и среди них были сыновья Ирины. «Мама! — показался ей голос Глеба.— Спаси, мама! Боль жуткая!» Она не могла этого слышать, заткнула уши. В какой-то момент глянула на дочерей: Настенька, любимица ее младшая, лежала бездыханная, закрыв глаза и неестественно вытянув шею, а Евдокия ловила ртом остатки воздуха и не могла их поймать. Ирина кинулась к дочери.

— Дуняша, сердечко мое, не оставляй меня. Мы выживем. Немножко потерпи.

— Матушка, дышать трудно. В груди все больно, в голове гудит нестерпимо.

— Это ничего, детонька моя, это пройдет. Скоро все кончится. Мы с тобой выберемся. В реке искупаемся.

— В какой реке? Мороз на улице. Ой, мати моя, не могу,— все тише звучал голос Евдокии.

Ирина говорила без умолку. Ей казалось, что если она замолчит, дочь уйдет навсегда. Невозможно было молчать еще и потому, что тогда она станет думать. А думы лезли в голову страшные.

Последний вздох Евдокии был тих и спокоен. Ирина закрыла глаза дочери. Больше у нее никого не осталось, жить было незачем.

Ворвались в храм татары. Началась резня. Лишь некоторых брали в плен и выводили из храма нагими на мороз.

В скорбном безразличии Ирина подняла глаза и вдруг увидела Василька — живого, черного от дыма и огня, с ожогами и ранами, со связанными руками. Татарин вел его на улицу — в мороз жгучий, от которого невозможно спастись, как и от насильников. С последними силами рванулась она к татарину: «Не пушу! Отдай сына, убивец!»

Она накинулась на него в твердой уверенности, что спасет Василька — чудом выбравшегося живым из огненного столба, последнюю ее надежду. Острый нож ударил в живот, боль пронзила сердце. Что сравнится с той болью, которую она уже пережила? Падая на холодные камни собора, Ирина увидела, как кинулся Василька защищать мать. Ничего у него в руках не было, да и руки его связаны, и все же он ударил обидчика головой, а потом и сам, сраженный мечом, упал рядом с матерью. Наступила черная ночь.

Чудотворная икона смотрела на все происходящее. Она была ободрана захватчиками, позарившимися на богатый оклад. Валялась в углу, ждала своего часа. И час настал.

Ушли татары из города, вышли из леса жители, спасавшиеся там. Предстояла им страшная работа: предать земле тела защитников и погибших горожан. Трупы русских воинов, запорошенные снегом, лежали на улицах. Нашли среди них и тело воеводы Петра, сражавшегося до последней своей минуты недалеко от собора Богородицы. В соборе же от огня, дыма и татарского меча погибли все, кто искал здесь защиты.

Нашли в углу чудотворную икону. Собрались перед ней все, кто остался в живых, и молились долгие часы.

Княжеские сыны Всеволод и Мстислав положили головы за городскими стенами, желая отомстить завоевателям земли русской. Князь Юрий Всеволодович пал в бою на берегу реки Сити. Туловище его долго лежало без головы. Потом отыскивали голову. В ростовском храме Богородицы захоронили князя Юрия вместе с племянником Василько, храбро сражавшимся рядом с дядей. Так примирились русские города Ростов и Владимир, когда-то боровшиеся за первенство над русскими землями...



Сергей Крестьянкин
(г. Тула)



ВЕСОМАЯ КОПЕЙКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Часть 1. Обмен

Алексей сидел на диване в гостях у Бориса и внимательно наблюдал, как тот старательно просовывал в горлышко бутылки из-под «Советского» шампанского десятикопеечные монеты.

— Ну вот, еще семь монет,— удовлетворенно потирая руки, произнес Борис, когда последнюю десятикопеечную монету удалось пропихнуть внутрь бутылки, и она с характерным звоном оказалась в куче других.

— Сколько у тебя там уже? — поинтересовался Леша.

— Полбутылки,— не моргнув глазом, ответил Боря.

— Молодец! Я оценил соль твоего юмора,— похвалил Алексей,— А в денежном эквиваленте?

— Точно не знаю, но думаю, что уже рублей сто есть

— И долго собираешь?

— Да уже больше года.

— А зачем тебе это вообще нужно? — удивился Алексей.

— Да ты знаешь, три года назад, когда я учился в десятом классе, у нас поговаривали, что в бутылку из-под «Советского» шампанского помещается ровно двести рублей десятикопеечными монетами. Вот я и решил проверить это.

— Такими темпами тебе собирать еще года два. А не проще сразу наменять в магазине по десять копеек и засунуть все это в бутылку. Или ты растягиваешь удовольствие?

— Нет, конечно. Но ты ведь знаешь, что в магазинах у нас всегда говорят: «Готовьте мелочь». Я думаю, что во всем Советском Союзе, в любой республике не найдется такого магазина, где смогут обменять сто или двести рублей по одной, три, пять или десять копеек.

— Слушай, интересная мысль,— встрепенулся Алексей.— А действительно могут в нашем государстве обменять двести рублей, скажем, самыми мелкими монетами по одной копейке?

Ребята задумались.

— Я предлагаю вот что,— продолжил развивать свою мысль Леша.— У тебя двести рублей найдется?

— Конечно. Я же в стройотряде заработал. Еще рублей пятьсот осталось.

— Пятьсот — это много, а двести — в самый раз. Ты мне даешь двести рублей, и я в течение десяти дней пытаюсь обменять их на копейки. Если мне удастся задуманное, то ты покупаешь билеты в кинотеатр на фильм Тарковского «Сталкер», который

начинают показывать через две недели, и угощаешь эклером, песочным пирожным с грибочками и «Гархуном». А если не удастся, то мы проделываем все то же самое, но только уже за мой счет.

На том и порешили.

Первый день Алексей пытался обменять деньги в продуктовых и промтоварных магазинах, а так же на рынках.

На него смотрели, как на идиота, воспринимали это как шутку и в одном случае предлагали обменять рубль-два по десять, двадцать копеек. Но по условиям договоренности такое не подходило.

Второй день Алексей потратил на посещение почтовых отделений в разных районах города, но все так же безрезультатно.

На третий день он взял паспорт и пошел в сберкасса в самом центре города.

Надо было видеть выражение лица охранника, когда Леша зашел в учреждение, заведующее деньгами. Оно вытянулось от приподнятых бровей и отвисшей челюсти, и взгляд был удивленно-настороженный.

И было отчего, стоило только глянуть на Лешу.

Густая борода, заросшие щеки, волосы прямые и длинные до плеч. Синие брюки, слегка расклешенные, на ногах кеды, куртка-ветровка темно-синего цвета. И завершала эту картину черная огромная спортивная сумка через плечо.

Охранник — молодой парень, уже около года работающий в сберкассе и привыкший видеть людей в пиджаках, галстуках, аккуратно подстриженных и с кейсами или портфелями в руках, несколько опешил от такого вида необычного посетителя.

— Вы куда? — попытался как можно строже спросить парень.

— В кассу, — ответил Алексей.

— Зачем? — наверное, не найдя ничего лучшего задал дурацкий вопрос охранник.

— Станный вопрос, — удивился Леха. — А действительно зачем? За мороженым, конечно, люблю пломбир.

Леша улыбнувшись, засмеялся.

Охраннику не понравилась веселость посетителя. В его понятии, наверное, все сюда приходящие должны выглядеть сосредоточенно серьезными, а веселиться надо в цирке.

Он незаметно нажал на кнопку. Из боковой двери вышел еще один охранник постарше — лет пятидесяти.

— Вы что, перепутали? Это не магазин — это сберкасса, и мороженое здесь не продается, — строго сказал мужчина в возрасте, который, оказывается, все прекрасно слышал, хотя и находился в комнате за закрытой дверью.

Дальше юморить Леше расхотелось, так как он почувствовал, что этот разговор затягивается, а продолжение его может оказаться в отделении милиции, откуда его, конечно же, отпустят, но время будет безвозвратно потерянным.

— Человек пришел в сберкасса, конечно же, не за пломбиром, а для того, чтобы получить деньги.

«Мыслит, вроде бы, логично», — подумал о посетителе старший охранник, но все-таки попросил показать паспорт.

Пролистав каждую страничку документа, сравнив фотографию с оригиналом и не найдя ничего криминального (а чего он там надеялся найти?), был вынужден отдать его обратно владельцу.

— А что у вас в сумке? — неожиданно подал голос молодой.

Старший посмотрел на молодого и одобрительно качнул головой, как бы говоря «Молодец!»

Леха раскрыл сумку и достал из нее еще одну спортивную сумку, только синего

цвета с красным кантом по краям и надписью «Спорт». Она была совершенно пуста.

— Просто у нас с такими сумками в кассу не ходят,— начал оправдываться старший, отдавая паспорт.— Извините. Николай, проводи товарища в кассу.

Хоть к окошку кассы Алексей и подошел один, но спиной чувствовал внимательный взгляд молодого охранника, стоящего в шагах пяти от него и не уходившего.

«За кого они меня принимают? — стал размышлять Леша.— Если учесть большие сумки, наверное, за возможного грабителя, а после упоминания мороженого — скорее всего за ненормального. Что же в итоге: ненормальный грабитель. А если бы я им сказал свою цель визита, то меня бы точно проводили, но не к кассе, а в сумасшедший дом».

— Что вы хотели? — отвлек Алексея от дальнейших размышлений голос кассирши.

Он посмотрел на табличку, стоящую на столе.

«Мария Сергеевна Золина».

— Мария Сергеевна, у меня к вам может быть несколько необычная просьба. У меня есть деньги бумажные по десять и двадцать пять рублей, всего на сумму двести рублей. Мне их нужно обменять на монетки достоинством по одной копейке. Вы сможете в этом помочь?

— А зачем вам это нужно? — задала стандартный вопрос Золина.

— Да мне интересно, может нам Советский банк удовлетворить такую простую просьбу рядового гражданина.

— Вы что, хотите подорвать экономику Советского Союза? — задала неожиданный вопрос кассир.

— А что, вся экономика такой огромной страны держится на копеечных монетах, и если изъять их в количестве двухсот рублей, то экономика даст трещину и начнет трещать по швам? — удивленно проговорил Алексей.

— Да нет, конечно,— улыбнулась Мария Сергеевна.— Это я пошутила.

Леша решил пойти на хитрость, пока у Золиной появилось хорошее настроение.

— Дело в том, что моя старшая сестра, а ей тридцать лет, выходит, наконец-то, замуж. Возраст, сами понимаете, критический. И чтобы у нее все сложилось хорошо, мы решили при выходе молодых из ЗАГСА закидывать их цветами и монетами. А каких больше всего? Конечно, копеечных. И потом: «Копейка — рубль бережет», «Копейка — основа всего»,— на ходу начал придумывать Леша.

Что подействовало на Марию Сергеевну — трудно сказать. Может быть, она вспомнила свою молодость, а может, ей понравился этот странно выглядящий и нестандартно мыслящий молодой человек, проявляющий такую заботу о своей сестре. Но она не стала задавать больше никаких вопросов.

— Сегодня пятница. Я вам столько мелочи не наберу, а деньги уже заказала на следующую неделю. Попробуйте зайти в понедельник, часам к одиннадцати. Может быть, что-нибудь получится. Только вы представляете вес этих копеек? Каждая копейка весит один грамм. Значит, один рубль — сто грамм, а сто рублей — десять килограммов. Соответственно, двести рублей будут весить двадцать килограммов. Дотащите?

— Я две сумки взял,— показал кассиру Леша емкости,— На случай, если ручки порвутся.

В понедельник Алексей ровно в одиннадцать часов вошел в сберкассу.

Дежурил тот же молодой охранник. Он молча посмотрел на Лешу, узнал его и, не препятствуя, пропустил в кассу.

Золина узнала посетителя и кивнула ему. После этого взяла в руки приспособление похожее на большую мясорубку и стала сыпать в отверстия этой самой «мясорубки» монеты.

Там что-то звенело, громыхало и шелкало.

Через некоторое время Мария Сергеевна наклонялась, доставала небольшой холщовый мешок, ставила его на стол, скрепляла какими-то скобами и запечатывала специальной лентой, на которой было написано «Гос. банк СССР. Монеты. Номинал 1 коп. Сумма: 30 рублей».

Затем она опять переключалась на «мясорубку» — счетную машинку и все повторялось.

После того, как был запечатан третий мешок, она подняла глаза и сказала:

— Пока удалось набрать только восемьдесят рублей. Но я заказала деньги, и в среду оставшиеся сто двадцать рублей по одной копейке вы сможете дополучить.

Алексей поблагодарил Золину, загрузил свою сумку денежными мешками и перекинул ее через плечо. Тяжесть оказалась довольно приличная — восемь килограммов, как-никак. Лямка сумки больно врезалась в плечо, пока он тащил свой груз до автобусной остановки.

В среду Алексея встречали как своего. Охранник с ним поздоровался, записав его в своей памяти как постоянного клиента. Да и куда деваться: ходит и ходит с большими сумками, а к внешнему виду уже привыкать стал.

Кассир улыбнулась, как хорошему знакомому и обменяла сто двадцать рублей на шесть холщовых мешочков, приготовленных заранее, по двадцать рублей в каждом, о чем свидетельствовали ленты на упаковках с надписью «Госбанк СССР».

— Удачи вашей сестре! — напоследок пожелала Золина.

И тут Алексею стало как-то неуютно и очень стыдно оттого, что он соврал этой женщине. Ведь никакой тридцатилетней сестры у него нет, и замуж никто не выходит. Он уже хотел признаться в своем обмане, но посмотрел в добрые глаза Марии Сергеевны, увидел ее счастливую улыбку, улыбку человека, умеющего радоваться за других, совершенно чужих людей и понял, что язык не повернется все это испортить. Ему показалось, что она даже как-то помолодела. Так зачем разрушать эту иллюзию. Зачем ей знать правду, тем более что при первой их встрече он честно называл истинную причину обмена денег. Для чего ей проза жизни? Пусть будет поэзия. Сказка. Вранье, которое всем во благо.

Он улыбнулся в ответ:

— Спасибо. Я думаю, что у нее все сложится хорошо.

И, взвалив на плечо свою двенадцатикилограммовую ношу металлических кругляшек, он отправился на остановку.

Вечером Алексей был у Бориса.

— Принимай свои двести рублей обратно,— он указал на кучку банковских мешочков лежащих на полу.— Пересчитывать будешь?

— Нет. Я же вижу, банковская упаковка. Значит, все-таки удалось?!

— И заметь: не за десять, а за восемь дней,— уточнил Леха удовлетворенно.

— И что мне теперь делать со всем этим богатством?

— А это не мое дело. Я свои условия выполнил и теперь нахожусь в предвкушении поедания пирожных и просмотра «Сталкера». Ты, кстати, билеты еще не покупал? Жаль. А то может не хватить, ведь он идет всего три дня. По поводу денег не переживай. Избавишься постепенно.

— Да как-то жалко. Ведь столько усилий ты потратил, чтобы добыть эти копейки, а мы их просто так отдадим в магазин.

— Ну почему просто так. Предложение интересное,— задумался Алексей.— Давай теперь что-нибудь придумаем с этими копейками, ведь не обратно же их нести, в самом деле. Мы, можно сказать, остановились посередине повести,— загорелись глаза Леши.— Значит, нам нужно будет дописать несколько глав, чтобы получилась картина целостной, и мы пришли к какому-то логическому завершению. Давай ду-

мать. Как говорится «Продолжение следует».

Часть 2. Ресторан

Спустя несколько дней после удачного обмена двухсот рублей на однокопеечные монеты, Алексей и Борис сидели дома у Бориса и придумывали, куда же их теперь потратить, чтобы это было оригинально, интересно, неожиданно и запоминаемо.

— Все-таки больше всего мне понравилось твое предложение о посещении ресторана, хотя я не любитель таких заведений,— сказал Борис.— Только вот расплачиваться будет неудобно. Горстями считать.

— А давай купим материал, нашьем мешочки и разложим в них по одному рублю. Всего-то двести мешочков. И считать удобнее будет,— предложил Леша.

— Мысль интересная,— согласился Боря.— Поедим, отдохнем, повеселимся, а когда станем расплачиваться, попросим принести поднос и начнем на него выкладывать эти мешочки с деньгами. Вот хохма-то будет.

— Самое главное,— подхватил мысль Алексей — Все это проделывать с совершенно серьезными лицами.

— В милицию-то нас не заберут?

— А что мы делаем предосудительного? — удивился Леха.— Мы же не украли ничего и не сбегам из ресторана. И платим не марками, пфеннигами, злотыми или тугриками, а нашими советскими деньгами: мелкими, но весомыми. Кстати, ты сам знаешь, на одну копейку можно попить газированной воды без сиропа, либо купить коробок спичек или даже два не маркированных конверта. Так что все нормально.

— Вообще интересный может получиться эксперимент,— улыбнулся Борис.

— Не просто эксперимент, а продолжение его,— чувствуется, мысль у Лехи заработала четко.— Я бы даже сказал, завершающая его стадия. У тебя, кстати, есть знакомая девушка, которая умеет шить?

— Да, есть, Лена Капустина из моей группы, пожалуй, и еще несколько найдутся. Институт-то большой.

— Вот и отлично. Я через два дня еду в Москву,— проговорил Алексей.— Куплю там шоколадку «Сказки Пушкина» или «Аленку», и ты отдашь ее Капустиной в благодарность за то, что она сошьет из нашего материала двести мешочков. Для нее это раз плюнуть, а нитки мы ей тоже купим.

— Ну, хорошо, этот вопрос мы, наверное, сможем решить, а как быть с кошельком? Куда мы деньги положим? Не в карманах же тащить двадцать килограммов, да и с огромной спортивной сумкой в ресторан могут не пустить.

— Нам нужно что-то компактное, емкое и прочное,— задумался Леша.— А что если взять для этой цели «дипломат-атташе» типа кейс?

— Рука не выдержит,— убедительно сказал Боря.

— Ну, тогда — два по десять килограммов,— сразу сориентировался Алексей.

— Уже лучше,— согласился Борис.— Но это надо пробовать экспериментальным путем: выдержат ли кейсы такой вес. Так что, шьем мешочки, заполняем их деньгами, укладываем в кейсы и проверяем. Один кейс у меня есть, а второй возьму у Сашки.

Через десять дней друзья собрались вновь. Кейсы и мешочки были на месте.

Сначала Лена Капустина согласилась помочь ребятам и нашить мешочков, но потом все-таки попыталась выяснить, для каких целей им нужно такое большое количество.

Борис, как мог, попытался объяснить цель эксперимента, как говорится — соль юмора, но Лена так и не смогла понять суть данного действия, назвала это чудачеством, бесполезным времяпрепровождением, но мешочки все-таки сшила качественно и быстро.

Друзья вскрывали банковские упаковки, отсчитывали копейки по рублю, пересыпали их в мешочки и завязывали тесемками, пришитыми к каждому мешочку добросовестной Леной.

Работа была кропотливая, трудоемкая и очень нудная, требующая терпения и усидчивости.

Но, в конце концов, она оказалась завершена.

Ребята облегченно вздохнули, автоматически отряхнули руки, ставшими черными от монет, и начали укладывать мешочки в дипломаты, по сто в каждый.

Кейсы оказались разными. Один был полностью кожаным, хоть и стареньким, но очень крепким, а другой — новый пластмассовый с серебристой металлической окантовкой по центру.

Щелкнули замки, закрывая кейсы, и мини-чемоданчики были поставлены на пол вертикально.

— Ну что, пробуем? — Борис посмотрел на Алексея.

— Ты, знаешь, лучше сам. А то оторвется ручка у твоего кожаного дипломата... Не хочу быть виноватым.

— Ну, ладно, — произнес Борис и приподнял очень аккуратно кейс над полом.

Дипломат был разбухшим от денег, словно какое-то беременное существо.

Тяжесть была приличная, ведь никто не рассчитывал, что кейсы будут нагружать до такой степени.

Но самое главное — он выдержал. Борис походил с ним по комнате, потряс, переложил из руки в руку. Ручка оказалась сделанной на совесть.

Пластмассовый кейс так же выдержал проверку.

— Леха, вес взят! — радостно прокричал Боря. — Осталось дотащить их до ресторана.

— Кстати, по поводу ресторана, — оживился Алексей. — Мы не пойдем в ресторан в нашем городе, а поедем в какой-нибудь другой. Но не в провинциальный: Рязань, Тамбов или Калугу, а в чванливый город снобов.

— В Москву что ли? — поинтересовался Боря.

— Точно. Мне интересно посмотреть на их выражения лиц.

— Здорово. Это мне нравится, — одобрил друга Борис.

Через неделю эксперимент под названием «Копейка» вступил в свою завершающую стадию.

Леша договорился со своими знакомыми девчонками, актрисами театра, Ирой Голубевой и Ольгой Лукиной подыграть им в ресторане, то есть вести себя естественно, особенно во время, когда они будут расплачиваться, как будто для них это не впервой, а наоборот, почти каждый день они сами расплачиваются в магазинах только копейками.

Выражаясь театральным языком, Ирине с Ольгой нужно будет сыграть этюд на тему «Я в предлагаемых обстоятельствах».

И вот — Москва.

Друзья побродили по городу, полюбовались достопримечательностями, сфотографировались и, наконец, сильно проголодавшись и устав (а носить полдня в руках десятикилограммовую тяжесть, удовольствие, прямо скажем, не из разряда приятных), решили ехать в ресторан.

Такси поймали, на удивление, почти сразу. Наверное, проезжающий водитель, увидев молодых симпатичных девушек и парней в костюмах, галстуках и с дипломами в руках, подумал, считая наверняка себя разбирающимся в людях, что сможет хорошо подзаработать на таких пассажирах, получив щедрые чаевые.

— Нам в «Токио», пожалуйста, — произнес один из молодых людей, когда они

расселись в салоне «Волги».

— Токио находится очень далеко, тем более на острове. Тяжело будет туда доехать на машине,— водитель решил, что клиенты попались с юмором, и посмотрел на них с усмешкой: «Мол, и мы не лыком шиты».

— Да, не-е, нам в ресторан,— уточнил Алексей с заднего сидения.

— «Токио» в Москве я не знаю,— сказал мужчина средних лет.— Хотя за рулем уже около десяти лет. Может все-таки в «Пекин»?

— Вот, точно, в «Пекин».

— Это другое дело. Поехали,— мужчина включил счетчик, дернул за рычаг коробки передач, переключая скорость, посмотрел налево, нет ли помехи, надавил на педаль и плавно отъехал от бордюра.

Водитель ухмыльнулся своим мыслям. «Не москвичи, раз не знают таких очевидных вещей. Периферия приехала кутить».

Пассажиры о чем-то переговаривались, шутили, девчонки смеялись.

Водитель не гнал, ехал осторожно. Путь не близкий — в другой конец города. Куда спешить? Счетчик-то тикает.

За разговором время пролетело незаметно быстро.

Машина затормозила. Шофер остановил счетчик. Там было 4 рубля 60 копеек.

Борис, сидевший на переднем сиденье, раскрыл кейс, лежавший у него на коленях, достал оттуда пять мешочков и вручил водителю со словами:

— Спасибо. Сдачи не надо.

— А что это? — опешил мужчина.

— Здесь пять рублей,— стал разъяснять Борис.— В каждом мешочке по одному рублю. Пересчитывать будете?

— Да вообще-то надо бы посчитать,— неуверенно глядя на горку мелочи, произнес водитель. Его надменно-пренебрежительное выражение лица и ухмылка, когда он смотрел на людей с периферии, хотя сам не являлся коренным москвичом, но об этом он как-то давно уже забыл и предпочитал никогда не вспоминать, куда-то сразу улетучились.

— Это — пожалуйста, мы не торопимся,— проговорил Боря и посмотрел на товарищей.

Те молча смеялись, показывая большой палец направленный вверх.

Шофер трясущимися руками развязал мешочек и стал пересчитывать деньги. Через некоторое время он сказал:

— Все правильно. Сто копеек — один рубль.

Он развязал оставшиеся мешочки и заглянул в каждый, но там везде оказались деньги, а не что-то другое. Пересчитывать остальное не стал. Взвесил на руке:

— Похоже — пять рублей. Надеюсь без обмана.

— А то,— промолвил Алексей, и они стали вылезать из «Волги».

Автомобиль отъехал.

Молодежь рассмеялась:

— А вы видели его выражение лица, когда он увидел эту гору мелочи.

— От спеси и следа не осталось.

— Ну что ж: один ноль в нашу пользу!

Они вошли в ресторан. Им опять повезло: там оказались свободные столики, а они боялись, что им может не хватить места. Но заказывали столики на более позднее время обычно. Поэтому ребята заняли один из свободных столиков на четверых.

Осмотрелись.

Тихая, спокойная обстановка. Вечер только начинался, поэтому посетителей было не так много. Музыканты не в полном составе наигрывали какую-то медленную мелодию. В центре зала танцевали три пары.

Официанты, в белых рубашках и при бабочках, шествовали по залу с гордо поднятыми головами и даже, можно сказать, со вздернутыми кверху носами, и со стороны казалось — надменно и пренебрежительно взирали с высоты своего роста на сгорбившихся людей, уткнувшихся в тарелки, стоящие перед ними на столах.

Чувствовалось, что в «Пекине» привыкли видеть не только москвичей, приезжих из периферийных городов, но и всевозможные иностранцы были тоже частыми гостями этого заведения.

Если бы друзья находились в Англии, и официанты были гораздо старше этих двадцатилетних молодых людей, то можно было бы поверить, что они так вышколены, — это их манера, их стиль так работать и обслуживать каждого клиента с достоинством, с которым обслуживают только королевских особ.

Но четверка экспериментаторов находилась в Советском Союзе...

Ребята сделали заказ. Тут были и бифштексы, и котлеты по-киевски, антрекоты и картофель «фри», всевозможные салаты, заливная рыба, экзотические жареные угри, яблоки, апельсины, мандарины, вино, чай, кофе, несколько видов пирожных и на десерт, конечно, мороженое.

Они танцевали, веселились, шутили, заказывали грибочки, телячью отбивную и еще всякую всячину.

В общем, два часа пролетели незаметно, и пришло время расплачиваться, чтобы не опоздать на электричку и вернуться домой.

Официант принес счет, где в итоге было написано: 138 руб. 75 коп.

За два часа проели хорошую месячную зарплату, а если вспомнить студентов, которые получают стипендию всего сорок рублей, то получается, что удалось потратить три с половиной стипендии. Нехило.

Алексей переглянулся с Борисом и, открыв кейс, стал доставать из него мешочки с деньгами и выкладывать на стол.

— Это что такое? — удивился официант.

— Деньги, — Алексей развязал тесемку одного из мешочков и высыпал на ладонь копейки.

— И что вы делаете? — спесь представителя ресторана начала улетучиваться.

— Мы расплачиваемся за ужин.

Вся четверка сидящая за столом внимательно наблюдала за официантом.

Он изменился в лице, оно как-то сразу вытянулось, глаза широко раскрылись:

— Не, я такое не возьму.

— Почему? — сделав большие глаза, невинно спросила Голубева. — Это наши с вами советские деньги.

— Но ведь там одни копейки.

— И что это меняет? — вступила в разговор до этого молчавшая Лукина. — Мы всегда и везде расплачиваемся копейками. У нас, как видите, все цивилично и мешочки специальные есть. А потом: «копейка — рубль бережет». Поэтому мы рубли бережем, а копейками расплачиваемся.

После такого сольного выступления Ольги, официант совсем сник и не знал, что делать. Было видно, что с такой ситуацией он сталкивается впервые, и как он должен поступить, не понимал.

А в это время Алексей опорожнил свой кейс полностью, закрыл и поставил его рядом с собой, после чего дипломат открыл Борис и так же стал доставать на стол серые мешочки.

Увидев эту картину, официант сказал, что сейчас позовет метрдотеля, и быстро пошел в сторону служебных помещений.

— Два ноль в нашу пользу, — сказал Алексей удовлетворенно.

Метрдотель появился у стола минут через пять. Это был мужчина лет пятидеся-

ти, среднего роста с маленькими усиками и небольшой лысиной на затылке.

Когда ему объяснили сложившуюся ситуацию, он, неожиданно, громко рассмеялся.

Было видно, что он оказался подготовленным к такому повороту событий, тем самым официантом, который его позвал.

Но смеялся он как-то странно: вроде бы открыто, от души, даже несколько громковато, но вот глаза совершенно не выражали восторга всего организма, были серьезны, и, можно сказать, напряженно-внимательно анализировали окружающее пространство.

Группа экспериментаторов, наоборот, была обескуражена действием очередного подопытного. Они многозначительно переглянулись между собой, скривили губы и широко раскрыли глаза, как бы говоря: «А теперь: один ноль в пользу метрдотеля».

Представитель ресторана, после того, как закончил смеяться, сделал небольшую паузу, любясь произведенным эффектом и начал говорить:

— Я вижу здесь представителей молодого поколения. Прекрасных молодых людей и леди, обладающих веселым нравом и развитым чувством юмора. Несомненно, интеллигентных и наверняка читающих в подлиннике Уильяма Шекспира и Ларошфуко.

На этих словах он бросил быстрый взгляд на ребят, словно профессионал-психиатр, оценивающий, в правильном ли направлении протекает беседа, и остался доволен собой.

По лицам сидящих за столом было ясно, что о Шекспире все слышали и даже читали, но кто такой Ларошфуко, знали немногие.

— Вы прекрасно провели время, повеселились, хорошо отдохнули? Есть ли какие-нибудь претензии к качеству подаваемых блюд или обслуживания?

— Нет. Спасибо,— ответила Голубева.— Все было очень вкусно.

— Замечательно,— обрадовался метрдотель и, сказав что-то официанту, но за громкой музыкой ничего не было слышно, отослал его.— Дело в том, что вы, наверное, издалека и не совсем в курсе наших порядков: деньги у нас подаются в открытом виде, так же как подаваемая вам пища: вы же не ели ее в темной комнате, да еще и с завязанными глазами.

— Да мы с приисков приехали,— подал голос Леша, решивший разнообразить ситуацию и внести кое-какие поправки в этот спектакль.— А там все, что намыли — храним в мешочках и расплачиваемся так же.

— Bravo! Мои аплодисменты! — обрадовался мужчина и захлопал в ладоши.— Конечно-конечно. Как же я сам не догадался. Это многое объясняет.

— Нет, ну если вы хотите, мы можем все высыпать из мешочков на стол или скажем — поднос,— продолжил разговор Алексей.

— Что вы, что вы,— замахал обеими руками метрдотель.— После вашего объяснения для дорогих гостей сделаем маленькое исключение. Только скажите: в каждом мешочке — ровно рубль и именно по одной копейке; не по две, три, пять?

— Совершенно верно,— подтвердил Борис.

— Очень хорошо,— промолвил мужчина и посмотрел через зал.

Молодые люди проследили за направлением его взгляда и увидели того самого официанта, который обслуживал их. Он толкал перед собой сервировочный столик, на котором что-то стояло, и было накрыто то ли скатертью, то ли каким-то покрывалом белого цвета.

Звучала музыка. Зал заполнялся народом. Кто-то танцевал. Кто-то сидел в ожидании заказа. Естественно, многие обратили внимание на необычную картину. Хотя, что в этом необычного? У кого-то — юбилей или, может быть, очередная годовщина свадьбы, и люди естественно заказали торт. Поэтому, когда официант подошел к сто-

лику, почти никто уже не смотрел в их сторону.

— Как вам, конечно же, известно, молодые люди,— продолжил свою речь метрдотель.— Советские деньги весомые. То есть каждая монетка имеет свой вес. Копейка, например, весит ровно один грамм. Поэтому, чтобы вас не задерживать, мы не будем пересчитывать эти деньги, мы их взвесим.

И с этими словами он, словно фокусник, сдернул скатерть.

На сервировочном столике стояли самые обычные весы серого цвета с облупившейся краской выпуска 1972 года. Такие весы с двумя чашками, одна поменьше для гирь, а другая в два-три раза побольше для взвешивания любого товара есть во всех продуктовых магазинах и на рынках.

Метрдотель стал быстрыми движениями забрасывать мешочки на широкую чашку весов, а на маленькую чашку он установил несколько гирек разного веса стоящих тут же рядом с весами.

Мужчина смотрел на двигающуюся стрелку весов, после чего скидывал мешочки с деньгами на сервировочный столик и нагружал на весы следующую партию.

На все про все ему потребовалось от силы минут пять.

Когда все мешочки перекочевали на сервировочный столик, метрдотель сказал:

— Сто сорок рублей ровно. Вам отсчитать сдачи рубль двадцать пять копеек вашим же металлом, намытым на приисках?

— Да нет, не стоит,— ответил Борис.

— Как скажете,— согласился работник ресторана, накинул скатерть на сервировочный столик и отослал официанта обратно.

«Кто эти клиенты, сидящие за столом? — думал метрдотель.— Золотая молодежь? Дети партийных боссов? Или высокопоставленных начальников, развлекающихся таким образом? Никогда не угадаешь, чьим сынкам или племянником может оказаться очередной посетитель ресторана».

— Ну, так мы можем идти? — вывел из задумчивости метрдотеля голос Алексея.

— Конечно-конечно, все улажено. Мы всегда рады вас видеть в числе наших клиентов. Так что, когда намоете очередную порцию металла на приисках,— заходите.

Молодые люди поднялись и пошли к выходу.

— Кстати, лет тридцать назад,— крикнул им вслед метрдотель.— Когда я был молодым, я носил другую прическу и брюки-дудочки.

— Я не поняла, а причем здесь брюки-дудочки,— спросила Ольга, когда они оказались на улице.

— Наверное, он хотел сказать,— начал объяснять Леша.— Что в молодости мы все такие: хотим выделиться из толпы и изменить мир. А потом: работа, семья, дети и все куда-то исчезает. Пропадает дух эксперимента, молодецкой удали и начинаем перелопачивать ежедневную рутину.

— Не знаю, как там по очкам, но эксперимент завершился, спектакль закончен,— вступил в разговор Борис.— И этот раунд, надо признаться, мы проиграли. Красиво он нас все-таки сделал. Один ноль в пользу метрдотеля.



Алексей Яшин
(г. Тула)



КОЛЛОКВИУМ НА ПОМОЙКЕ

◆ Перейдя на преподавательскую службу в университет, Николай Андреевич на сто восемьдесят градусов поменял утренний и вечерний маршруты: на работу и с работы. Если доселе, выйдя из подъезда, он сворачивал четко влево и торопился на недалеко стоящий служебный автобус, что через весь немалый город вез его с коллегами в «лес», то есть в загородное НПО «Меткость», то теперь он с первого сентября до конца июня, исключая выходные и праздники, брал курс направо. Усмехался сам себе: был ты, Андреевич, ходоком налево, а стал — направо!

Далее, закурив утреннюю сигарету, по внутриквартальному тротуару проходил мимо палисадника соседнего дома и еще одного, который глухим углом срачивался с перпендикулярным к нему таким же пятиэтажным домом, пронумерованным уже по другой улице. На угловом стыке в трехкомнатной квартире первого этажа располагался ЖЭК их квартала. Пренебрегая протоптанной тропинкой кратчайшего пути, четко, с поворотом *на-а-лево*, огибал внутренний угол срощенных, как сиамские близнецы, пятиэтажек, затем по тротуару же, между торцом «перпендикулярного» дома и скороспелой избушкой ночника «Трианон-24» выходил на «перпендикулярную» же улицу, через дом впадавшую в проспект, а через пару минут ходьбы нырял в переход через проспект и выходил прямо на свой первый учебный корпус — «пентагон». Вся ходьба, даже в октябрьский проливной дождь или в раннефевральскую вьюгу-метель, занимала менее десяти минут. «Половина подлётного времени американских крылатых ракет и «томагавков» из Европы до Москвы», — как бы сказал коллега, полковник Хмуров, приучивший всю их ракетостроительную кафедру к образному военному мышлению.

...Огибая внутренний домовый угол, Николай Андреевич боковым зрением фиксировал помойку, располагавшуюся напротив угла с ЖЭК-овской конторой, на расстоянии метров сорока на небольшом пустыре. Как матерый инженер Николай Андреевич уточнял для себя: помойка расположена в сорока метрах, плюс-минус пять, от вершины внутреннего домового угла четко на биссектрисе этого угла. Естественно, условно проведенной. Далее, миновав помойку, биссектриса упиралась за пустырем в ограду детского сада. Поскольку детсад имел специализацию по части заикающихся детишек, то он один из немногих в их районе уцелел в динамичные девяностые годы, когда здания этих богоугодных заведений почему-то облюбовали новосоздаваемые полукриминальные банки с уставным капиталом в стоимость детской же коляски...

А миновав с опаской — от ребячьего гомона — садик, биссектриса упиралась во вторую помойку их двухпомоечного квартала... Но этот санитарно-коммунальный объект как раз был хорошо знаком нашему новоиспеченному доценту: географически она являлась ближайшей к его дому, туда он по вечерам и ходил с мусорным ведром — его забота по разнарядке домашних дел.

Обе помойки, равно как и другие в городе Тулуповске, были братьями... то есть сестрами-близнецами и предметом гордости руководителя соответствующей коммунально-хозяйственной службы Тулуповска и бессменного городского депутата Прокопайко Дмитрия Федоровича. Еще на излете бывшей родной советской власти, ныне тоталитаризма, он склонил горисполком к унификации помоечного хозяйства. На одном из метизных заводов, которыми изобилует промышленный тогда город, по централизованному заказу были изготовлены мусорные контейнеры, по размеру и, главное, по абрису формы, очень схожие с английскими громоздкими танками времен Империалистической войны. Только без пулеметной башни сверху и без колес и гусениц снизу. Такой танк воочию Николай Андреевич некогда видел на родине своей матери, в Архангельске, будучи там в командировке. Так сказать, памятник-напоминание об интервенции Антанты в Гражданскую войну. Сходство дополнялось и тем, что посудины эти были сварены из полудюймовых, почти что броневых листов. По всей видимости, в тогдешнем, военно-промышленном Тулуповске, другим железом брезговали.

...Николай Андреевич усмехнулся: вечно живая Антанта! Только сегодняшним утром услышал из кухонного репродуктора: вновь французский Саркази подписал с «двуспальным английским левою» договор об усилении военного сотрудничества.

Другим же, не видевшим староанглийского танка, контейнеры казались похожими на *БМП*. Кому что кажется.

Начав трудиться в университете, вынося мусор в родную и дважды за день проходя мимо ранее малознакомой ему *ЖЭК*-овской помойки-танка, Николай Андреевич, несмотря на их близнецовую похожесть, невольно отмечал и существенные различия.

Родная помойка ютилась на юру, зажата торцами двух пятиэтажек. Пожалуй что знаменита была она в квартале тем, что постоянная зловонная лужа около нее не высыхала даже в самые знойные июни-июли; даже в только что минувшее лето, когда американцы испытывали на Аляске станцию *HAARP* глобального управления погодой и устроили для европейской России двухмесячную сорокаградусную баню, лужа позеленела, но не сдалась. Зимой эта лужа, к ее сожалению, замерзала, но коварно превращалась в каток. То есть в любое время года клиент помойки, опасливо обходя лужу или ледяной каток, заходил к бронированному монстру с тыла, откуда и выметывал содержимое ведра через высоту двухметровой стальной стенки.

А вот *ЖЭК*-овская совершенно другое дело: расположена просторно, на пустыре, никаких луж, главное — вокруг ее всегда многолюдно. Но откуда солидный такой пустырь, причем явно часть его занял детсад, построенный уже в обжитом пятиэтажном квартале — пустырь посреди плотно застроенного места?

Докуку эту сняла супруга, поселившаяся здесь еще школьницей, когда пятиэтажки еще только начали возводить (Николай Андреевич уже под тридцать лет жил примаком) вместо сносимого частного сектора: «Так ведь там раньше зеленка находилась!» И здесь Николаю Андреевичу все стало яснее ясного.

◆ Мигом он вспомнил давний свой приезд в Тулуповск после окончания школы в Заполярье. Вышло время северного житья-бытья, и вся их большая семья собиралась по ранней осени сюда переезжать: дядька Лазарь Федорович, муж сестры Николкиного отца, за умеренную плату заканчивал строительство-расширение своего дома в Косолучье, рабочей окраине Тулуповска — под семейство Андреева. Захотелось Лазарю на старости лет пожить обок с родичами. Да и северные деньги Андреева нелишними были при их с женой пенсиях и сыном, сорокалетним инвалидом-надомником.

А вот Николку отправили к дядьке на постой раньше, сразу после выпускных экзаменов в школе: осмотреться, подготовиться к экзаменам в Тулуповский политехнический институт и далее их сдавать.

И весь июль с августом все дни, исключая экзаменационные, где он без напряжения получал отличные оценки, проходили по четкому графику: с утра до обеда подготовка к экзаменам, затем пару-тройку часов Николка осваивал строительные специальности — помогал дядьке и двум наемным рабочим достраивать новую половину дома и отливать из шлакобетона два хозяйственных сарая на условно поделенных на два семейства приусадебных сотках. Затем, до ужина снова учебники и пособия для поступающих вузы.

С наступлением вечера — не светового, но по времени — дядька звал Николку из отведенной ему небольшой «своей» комнатки смотреть футбол: почти весь июль-месяц по телевизору транслировали матчи знаменитого чемпионата мира по футболу, где наша команда впервые заняла полупризвое четвертое место, а героический Лев Иванович Яшин вратарил в матчах такого ранга в последний раз.

Часов в одиннадцать, когда летнее солнце уже зашло за горизонт, но и оттуда еще слегка продолжало освещать косолученские дома и улицы, Николка выходил подышать перед сном праведника, пройтись вдоль короткой своей улицы с одним рядом домов, схожих с дядькиным; вместо второго ряда порастал молодой, некультивированный еще парк.

В этих прогулках скоро познакомился с соседскими ребятами. Тем более, что они от родителей, а те от Лазаря и тетки, уже знали все о Николке и скоро приезжающем его семействе. А с Вовкой Семченко, жившем в крайнем доме их однорядной улицы, и вовсе скорешился, благо тот тоже в этом году окончил школу, интересы у них общими оказались. Правда, Вовка имел в запасе еще полтора доармейских года, собиравшись устроиться лаборантом на металлургический завод, окормлявший косолученский поселок, и ждать на следующее лето направления в юридический институт в Саратове, которое обещал «устроить» милицейский майор из косолученского отделения, которому отец Вовки срубил бревенчатую дачу.

«Вовка — парень бойкий, но не хулиганистый, себе на уме, даром что родители его из выселенных после войны западных хохлов,— как-то завел разговор Лазарь, приметив в свете заходящего солнца беседующих у ворот дома племянника и соседского парня,— вот послезавтра чемпионат заканчивается, Беккенбауэр немецкую команду в чемпионы все же выведет, а ты с утра до ночи над учебниками не корпи, и так уже готов к экзаменам. Давай-ка после ужина гуляй с тем же Вовкой. Тебе здесь жить теперь, надо нравы и порядки здешние освоить. У вас там на Севере все другое было. И голова к экзаменам свежей должна себя чувствовать. Главное — не переучись!»

А Николка вспомнил наставления отца при отъезде в Тулуповск: дескать, Лазарь не такой простой, каким старается казаться. В жизни многоопытен, все испытал: взлеты и падения оземь. Двадцать лет по хозяйственной части в органах служил, в войну до высокого чина в НКВД дослужился, а потом на чем-то попался, опять же по хозяйственной части: лагерь, высылка на поселение в Тулуповск, работа горновым на домне... При Сталине все одинаково, независимо от чина, перед законом были равны. Поэтому ты к его словам прислушивайся. Прибаутки мимо ушей пропускай, а по делу — наматывай на ус.

... «Что ж,— решил Николка,— буду здешние нравы осваивать под руководством Вовки».

◆ И начал Николка-абитуриент выходить из дядькиного дома на однорядную свою улицу еще засветло, все же после ужина прорешав по паре задачек из пособия для поступающих — по математике, физике и химии, тогда обязательной при поступлении во все технические вузы. Хотя уже страной «рулил» молодцеватый Ильич Второй, но хрущевский скорректированный девиз: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация и химизация всей страны» — еще действовал по накатанной.

...Доходил до Вовкиного дома, стучал в окошко. Затем до темноты, сидя на лавочке у ворот, либо же неспешно прогуливаясь по молодому парку, они мечтательно рассуждали о будущей учебе в институте, о жизненных планах. Николка рассказывал о флотском Севере, а Вовка ненавязчиво поучал новичка в части местных порядков: общегородских и автономных косолученских поселковых. После жаркого дня налетал приятный предночной ветерок, шумел в десятке метров молодой парк, со стороны открытой танцверанды Дома культуры металлургов доносилась ритмическая музыка твиста, только-только по всей стране сменившего возрожденный было чарльстон... Свежайший воздух городской окраины, ласковый ветерок, далекая веселая музыка настраивала сдружившихся ребят на мечтательную романтику. Юность, благодать!

«Хорошо бы на танцы в ДК сходить, но здесь принято со своей чувихой там появляться,— как-то заметил Вовка,— а моя школьная подруга сейчас в Москве, в Текстильный институт поступает, модельершей не терпится стать. А у тебя еще такой не образовалось. Ничего, поступишь в институт, сразу из своих студенток найдешь. Или вон в четвертом нашем доме у отставного майора, что недавно прибыл со службы в Венгрии, три дочери, все симпатичные, даже красивые. Средняя как раз под тебя. Но сейчас ей не до танцев — зубрит к экзаменам, не хуже тебя, в наш пединститут. Сегодня уже поздно, а завтра давай засветло двинем на нашу зеленку, пять минут ходьбы, за Севастопольской улицей, в волейбольчик разомнемся».

Николка согласно кивнул, но расспрашивать — что такое зеленка? — не стал. Дескать, еще совсем дикарем сочтут, с Северного полюса прибывшим в цивилильный город!

...На Томку же, среднюю дочь «майоровской», как их по-деревенски называла вся улица по чину главы дома, семьи он и сам глаз положил, даже пару раз поговорил об их абитуриентских заботах. Она же собиралась на филологический факультет и даже дала почитать вошедший в том году в моду роман «Консуэло»: «На штамп внимания не обращай,— хихикнула она,— не успела перед отъездом в библиотеку сдать!»

Действительно, на первой и шестнадцатой страницах зачитанной книги стоял библиотечный штамп: в/ч такая-то, город Секешфехешвар.

А о зеленке спросил у дядьки Лазаря. Из его обстоятельного рассказа с историко-культурными экскурсами (полковники *НКВД*, даже хозяйственники, много чего в жизни знали), а потом и личного знакомства с зеленкой, Николка составил самое полное представление об этом предмете.

◆ Получалось так, что где-то сразу после военного лихолетья, при восстановлении разрушенного и строительстве новых домов, как многоэтажных, так и частнопоселковых на окраинах городов, архитектурные управления в генеральных и местных планах застройки обязательно предусматривали, следуя директиве партии и правительства, в каждом квартале место под своеобразную культурно-политпросветительную и физкультурно-оздоровительную площадку.

Такая же располагалась и в их квартале частной застройки, примыкая к соседней улице Севастопольской. Размером с половину футбольного поля, обсаженная по периметру уже подросшими деревьями, отделявшими ее от домов и приусадебных участков улиц Севастопольской и Горновой. За эти деревья и травяной покров и провали эти площадки зеленками. По крайней мере так они именовались в просторечье в Тулуповске.

Две трети зеленки занимала физкультурная часть: в середине ее небольшое поле для дворового футбола — с сетчатыми воротами. С одного края — волейбольная площадка, но сетку на ночь и на осень-зиму убирали. С другого — баскетбольная с простенькими щитами и корзиной, поднятыми на вкопанных в землю столбах. Остальную территорию зеленки занимала агитплощадка: с десятков рядов длинных досчатых скамеек на коротких пеньках-столбиках. Перед ними сколоченный из горбылей, но оструганных с фасада, и покрашенная охрой, сцена-подиум. С правого края

сцены — трибуна, сколоченная уже из досок, впрочем, простых, нешпунтованных. Полупериметром подиум и скамейки охватывают прибитые к двухметровой высоты столбам фанерные щиты с централизованно нарисованными плакатами: пункты морального кодекса строителя коммунизма, портреты Маркса — Энгельса (вместе), Ленина, свежей краской — Леонида Ильича и почему-то Отто Вильгельмовича Куусинена, бывшего коминтерновца и генерального секретаря компартии Финляндии в советской эмиграции. Где он и остался членом ЦК.

Самое интересное: Томка майоровская, которую они с Вовкой как-то уговорили отвлечься от зубрежки и сходить на зеленку — послушать выступление молодых поэтов из литобъединения при ДК металлургов, заметила: у них в военном городке в Секешфехешваре на агитплощадке были те же самые портреты вождей, только вместо Брежнева, понятно, Хрущев, а вместо кодекса — воинская присяга. Но Куусинен тоже с финской суровостью смотрел на бойцов Южной группы советских войск.

Еще на диагональных углах зеленки располагались водоразборные колонки — для жителей Севастопольской и Горновой: частный сектор не имел водопроводной сети. Газ подвел, и когда Николка заканчивал институт.

◆ В компании с Вовкой, пару раз за то абитуриентское лето и с зазванной ими Томкой, Николка познакомился с вечерней жизнью зеленки. Но уже учась в институте, с прибывшей в Тулуповск семьей, он лицезрел ее и утром, и днем. Дело в том, что его домашней обязанностью стало назначенное матерью водоснабжение. То есть он выкатывал за веревку из ворот колесную тачку, на площадке которой закреплен соркалитровый молочный бидон, и тащил ее за собой к ближайшей колонке. Ближайшая располагалась через два дома улицы и далее через главную дорогу Косолучья. Почему-то колонку устроили на той стороне дороги, где стояли пятиэтажные дома со своей водой. Поскольку во всем Косолучье по поселковой простоте светофоров не имелось, то приходилось дважды — туда и обратно — выждать паузу между бешено мчащимися в сторону металлзавода и обратно тяжело нагруженными грузовиками. Это надоело, Николка переориентировался на колонку в углу зеленки. Путь туда в два раза длиннее, зато по утрамбованным земляным тротуарам: те же два дома до верхушки их улицы, затем влево до верхушки же соседней, параллельной ихней Севастопольской — и вдоль нее до колонки. А от нее вся площадка как на ладони. Пока бидон наполняется, глаза фиксируют все там происходящее.

Это ведь самое людное от восхода и до захода солнца место большого квартала с семью улицами шлакобетонных — дармовой стройматериал с металлзавода — частных домов, домиков и даже домищ — в основном у выселенных с Западной Украины хохлов. Как пояснял дядька Лазарь — это мирные люди, а выселяли их оттуда чтобы лишить бандеровцев людского резерва. И, конечно, заполнить нехватку работяг в городах центральной России.

С конца апреля, когда земля подсохнет от сошедшего снега, до второй декады октября, особенно если тот выдастся без особых дождей, едва веселое солнце выпрыгнет из-за самого окраинного, такого же частнособственнического сорок восьмого квартала и высветит вышки далеких отсюда домен, градирен и труб металлургического завода, почти что комбината, на зеленке появляются бабы из соседних с ней домов. Почти все население квартала из деревенских: наших и хохлацких. Сейчас им не надо доить коров, разве что некоторые задают хлебово свиньям, которых воспитывают в шлакобетонных же хлевушках. Но переучиться они не могут, а потому встают спозаранку, идут к обеим колонкам за водой, снимают высохшие за ночь простыни и прочую мануфактуру, сматывают бельевые веревки, с позднего вечера растянутые между плакатными столбами.

Перерыв людей на завтрак и уход на работу используют коты, также расходящиеся по домам после ночных бдений на лавках и трибуне зеленки. Они торопятся;

во-первых, к своим завтракам в дома поспеть; во-вторых, успеть разминуться с собаками, которых хозяева выпускают на зеленку порезвиться за верную ночную службу во дворах. Вослед за псами за ворота выходят опять же бабы. Они зорко посматривают поочередно на два дома: один на Севастопольской, в котором проживает их участковый Пал Никитич, другой на Горновой, где уже опохмеляется самогоновкой Трофим — штатный дворник и вообще ответственный за все на зеленке.

Только-только Трофим закусит огурцом и заматерится, направляясь с метлой к выходу из дома, либо заскрипит калитка со стороны владения Пал Никитича, как хозяйки начинают выкликать своих собак и загонять во дворы. Иначе участковый громко начнет грозить протоколом и штрафом. Впрочем, больше для острастки и поддержания авторитета власти: его овчарка Верный тоже иногда утром выпускается на зеленку, где на правах своего размера и значимости хозяина руководит всеми окрестными псами «дворовой» породы.

А увидев разъяренного Трофима с размахренной метлой, собачки, поджав хвосты, и сами в панике разбегаются по домам. Тот же орет на всю ивановскую, пробуждая самых сонь двух-трех улиц квартала: «Мать вашу перемать! Опять зас... всю зеленку! Доберусь я до вас, шелудивых!» — И далее в той же лексике и тональности.

На площадке остается один Верный. Со строгим выражением морды лица он наблюдает, как Трофим выметает между лавками семечковую шелуху и обертки от конфет. Затем участковый пес, подняв морду, принюхивается по курсу рассветного ветерка, степенно заходит за сцену, выносит оттуда в зубах бутылку «ноль-семь» из-под самого дешевого портвешка, кладет ее под ноги негласного подчиненного своего хозяина. Ориентируется он на сходство запахов от Трофима и бутылки... Затем направляется к углу вому дереву площадки и приносит водочную тару. «Ну, собачка, ну, молодец! — восхищается Трофим. — Вот и на пиво мне собрал. Иди домой, умница; тебя, наверное, Катерина Ивановна заждалась с завтраком. Да-а, жаль, что ты водовку и самогоновку не потребляешь!»

◆ Проводив мужиков на работу, дождавшись пока озлобленный с утра Трофим выметет вчерашний мусор с агитплощадки и уйдет в ближний «трестовский» магазин обменивать бутылки на пиво, бабы выходят на зеленку, кучкуясь группками по ее периметру, судачат.

Наискосок через зеленку идет Пал Никитич с потертой кожаной папкой подмышкой, приветствуя соседок прикладыванием ладони к милицейской фуражке. Бабы уже знают: идет в двенадцатый дом по Горновой, куда позавчера вернулся с двухгодичной отсидки Витька Манохин, по дури молодой ввязавшийся в свадебную драку на улице Бункерной. Кого-то там слегка порезали, а пьяный и мало что соображающий Витька зачем-то подобрал скинутый финку-нож, с которым его и взял подъехавший наряд.

Идет Пал Никитич по долгу службы и по человечности принять покаянную исповедь злосчастливого Витьки, отпустить навешанный на него чужой грех, ободрить и наставить на путь истинный. Опосля и всему кварталу объявить: исправленному, мол, надо верить! Сам Пал Никитич худошав, по-военному подтянут, с добрыми пшеничными усами. Первого послевоенного армейского призыва, прослужил со сверхсрочной восемь лет в погранвойсках — вернулся со щенком овчарки, папашей нынешнего Верного, в звании ротного старшины при пограничной же медали с зеленого цвета колодкой.

Уже в военкомате, где он вставал на учет, ему дали направление в райотдел колхозно-рабочего поселка-пригорода, а там, обрадовавшись, мигом определили участковым в его родной, еще только на треть застроенный квартал. Через полгода упали две звездочки на погон, а через десять лет добавилась еще одна. Теперь стареем до пенсии.

...Часам к одиннадцати зеленка заполнена людьми и детским гомоном: молодые мамы, двигая коляски с сосунками, попарно разгуливают по спортивной площадке. Октябрята и младшие пионеры вьюнами вьются и этакими чертенятами скачут вокруг сцены и лавок агитплощадки. Но вот со стороны Горновой на зеленку, прямо к сцене, въезжает старенький грузовик поселкового коммунхоза. Пристойно матерясь, ведь дети и бабы тотчас вокруг скучковались, спрыгнувшие с кузова работяги под руководством вышедшего из водительской кабины техника разгружают грузовик: свежееотесанные столбы, лопаты, ящики картонные с чем-то бьющимся осторожно с кузова снимают. Бабы довольно улыбаются, а младшие пионеры в восторге заходятся в криках: наконец-то дошла коммунхозовская очередь до их квартала: теперь зимой, когда футбольное поле зеленки расчищают от снега и всем кагалом заливают каток, уже не будут вечером, в темноте, только в отвесах из окошек домов, носы об лед расшибать!

А между тем работяги выкапывают аршинной глубины ямы по обе стороны сцены и впритык к ней, а затем по углам зеленки на ее Севастопольской окраине. В ямы устанавливают осмоленными концами, обернутыми рубероидом, столбы с уже навешенными поверху их простенькими фонарями — жестяными конусами с лампочкой внутри. За это время грузовичок уже обернулся, привез щебенку для грунтовок ям, кирпичный лом для их же засыпки и бадью с цементным раствором. На другой день тот же грузовичок привозит электрохозяйство; уже другие рабочие, про которых сочинен обидный стишок-загадка «с когтями, но не птица, летит и матерится», залезают на новоиспеченные столбы, тянут «воздушки» от их к ближайшим фонарным столбам на Севастопольской и Горновой. В середине дня на старенькой же райкомовской «Победе» приезжает партийный инструктор и велит рабочим укрепить на растяжке между столбами со сторон сцены сразу — один над другим — два кумачных полотна. На одном золотыми буквами значатся бессмертные слова основоположника: «Искусство принадлежит народу». Прочитав же содержание второго, бабы постарше суеверно, но незаметно осеняют себя крестным знамением: «Политическая грамотность народа — залог скорого построения коммунизма». И подпись: «*О. В. Куусинен*». Шепчутся между собой, опасливо оглядываясь на довольно потирающего трудовые руки инструктора: да, мол, бабы, наверное этот *Куусинен* будет следующим партийным главным секретарем. Дай, конечно, *нам Бог* здоровья и многих лет Леониду Ильичу...

И снова грузовичок обернулся, а под двойным руководством инструктора и техника на правом, если смотреть с лавок на сцену, столбе укрепили тарельчатый громкоговоритель, соединив тож «воздушкой» его с тем же ближайшим фонарным столбом на Горновой. Пониже электрических там протянуты и провода радиовещания. От громкоговорителя по столбу вниз протянули провод к включателю-выключателю, помещенному в жестяную коробку с крышкой на простеньком навесном замочке. Инструктор торжественно вручил ключ от замочка Трофиму, разъяснив: включать радио с девяти утра до двух дня, а вечером с семи до одиннадцати.

«А если война начнется, например, в шесть вечера? Как оповещать?» — съехидничал кто-то молодой из толпы зевак. Инструктор, на сей раз прибывший со своим помощником, не поддаваясь на провокацию, тихо сказал ему: «Впиши-ка, Егоров, в план *наших* мероприятий до конца года две дополнительные политбеседы в этом куркульском квартале».

◆ Но это экстраординарные три дня, когда нормальная жизнь зеленки прервана такими важными событиями. В размеренной же обыденности к часу дня мамы с колясочными младенцами и малышня, последняя с угрозой легкой порки, расходятся по домам обедать. Уходят и хозяйки, все мучимые догадками о какой-то тайной роли Отто Вильгельмовича Куусинена в Кремле. Правда, на днях студент пединститута

Сергея Варфоломеева из седьмого дома на Севастопольской, услышав бабьи толки, рассмеялся: «Если Куусинен еще жив, о чем мне неизвестно, то ему должно быть лет восемьдесят. Тут какое-то недоразумение у райкомовцев вышло».

...То ли Серегины слова через баб достигли нужных ушей, то ли еще что, но вскоре растяжку с изречением Отто Вильгельмовича сняли, а его портрет заменили (тоже волевым) лицом Михаила Андреевича Сулова — главного идеолога партии и ответственного за движение культуры в массы. Это бабам Серега пояснил, чтобы и здесь голову не ломали.

После обеда пионеры с октябрятами убегают в ближний — через главную косо-лученскую дорогу и мимо поселковой больницы — «трестовский» кинозал на детский, десятикопеечный сеанс. А зеленку плотно обкладывают комсомольцы: старшие школьники, что уже брезгают пионерлагерями, студентки (студенты же летом в стройотрядах) и отоспавшаяся после ночной смены у домен рабочая молодежь. Ребята гоняют-бросают мячи на всех трех спортплощадках зеленки: кому что нравится. Умные студентки, что в очках, и старшие школьницы, живописно в своих цветастых юбках-платьях рассеявшиеся по скамейкам, читают свежие номера «Юности» и взятые в библиотеке ДК металлургов переводные французские романы Франсуазы Саган и стихи Евтушенки с Вознесенским.

Вздremнув после обеда с рюмкой-другой самогонки или казенной, выходят на променады и взрослые мужики. Сначала это работяги, что идут в ночную доменную смену, ближе к вечеру их сменяют пришедшие со смены дневной и поужинавшие. Тоже с рюмками. В доменном цеху иначе не потянешь. И те, и другие забивают козла в домино на высадку и под малый интерес навреде пива. Длинный дощатый стол на две четверки игроков и лавки при нем на врытых в землю столбиках принаитованы в самом правом углу зеленки со стороны Горновой. Два матерых клена, посаженных еще неким довоенным мичуринцем и не тронутые при планировке микрорайона, создают доминошникам освежающую тень. В документации на зеленку стол значится как «уголок шахматно-шашечных игр с соответствующим им инвентарем». Впрочем, иногда здесь действительно играют в шахматы, но чаще в шашки. В шахматы же обычно сражаются политически грамотный Сергей Варфоломеев и учитель на пенсии Григорий Кузьмич с Индустриальной улицы, что сразу за Горновой и Доменной. Доминошники ворчат, но, потеснившись, уступают им крашек стола, уважая староиндийскую забаву...

К этому времени возвращается из кино ребятыня, мамыши с грудничками вновь выходят на прогулку, бабы, сготовив ужин, тоже кучкуются по периметру зеленки, ожидая мужиков с дневной смены, задержавшихся в пивной.

Но это все в обычные дни, то есть не в выходное воскресенье (суббота тогда еще не стала нерабочей) и не в среду — всесоюзный партийный день. Еще имел место быть всесоюзный же рыбный день — четверг, но он относился только к общепиту.

В воскресенье и в среду, тем более в табельные дни праздников, особенно Дня металлургов, обычное расписание деятельности зеленки меняется. Наименьшие изменения в среду: между полуднем и двумя часами дня приходит в сопровождении давешнего Егорова из райкома лектор из общества «Знание», вернее, его областного отделения. Вчерашний еще выпускник истфака пединститута Егоров, засматриваясь на коленки читающих Евтушенку девиц, четверть часа что-то путано рассказывает подтягивающимся на агитплощадку бабам и пенсионерам об особенностях взаимоотношения Никарагуа с Гондурасом и миротворческой роли здесь ЦК КПСС и лично дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева. Затем он представляет уже профессионального лектора от «Знания», который хорошо поставленным голосом в течение часа — и еще полчаса ответов на вопросы заинтересовавшихся пенсионеров — занимательно рассказывает об успехах советской космонавтики и, конечно, о личном вкладе дорогого товарища...

В воскресенье, если день «летний», то есть не дождливый, приезжает целая агитбригада. Сначала кто-либо из поселкового совета отчитывается перед трудящимися квартала о планах местного благоустройства и скором подведении в их квартал газа. Затем на сцену выходит баянист-виртуоз от тулуповской филармонии. Ему аплодируют. Потом под аккомпанемент уже своего баяниста поют и пляшут три-четыре девушки в холстинковых сарафанах и кокошниках — из музыкально-танцевальной студии ДК металлургов.

По табельным праздникам, а в День металлурга — храмовый праздник квартала и всего Косолучья с прилегающими селами и деревнями — и с накрытием столов, выносимых на зеленку из окрестных ее домов, веселье с полудня до темноты. — У Трофима-дворника с шести утра; ради такого дня он похмеляется не домашним напитком, но дорогостоящей, за три-двенадцать, очищенной «Экстрой» или, как он произносит, «пашеничной». В такие дни на сцене не редкость увидеть и четверть (больше на сцене не поместится) Тулуповского народного хора профсоюзов. Остальные три «четвертинки» поют на зеленках других кварталов; словом, каждой сестрице по серьгам. А ближе к вечеру и вовсе девки, бабы-молодухи, отпущенные мужьями, отмечающими праздник по домам, и холостые парни-доменщики танцуют под музыку присланного из филармонии ВИА «МИР» («Мелодии и ритмы»), только что образованного и проходящего обкатку на низовке.

Танцуют нередко и в будние вечера. Трофима просят вырубить громкоговоритель на столбу, а Серега Варфоломеев приносит диковинный японский магнитофон «Панасоник». После танцев молодежь разбивается по интересам и парам, рассредоточивается по всей зеленке, разговоры разговаривают, семечки хрумкают, хихикают. И так до полуночи. До полуночи же и забивают козла доминошники, особенно из пенсионеров с их бессонницей. Хулиганства на зеленке нет; если кто-то в компании и выпьет, то лишь «ноль-семь» портвейна ординарного на троих-четверых.

А Пал Никитич, одетый в партикулярное, азартно кричит старшинским басом в доминошном углу: «Р-рыба! А это, тебе, Михеич, на погоны!» Но в то же время порой бросает зоркий взгляд на пространство освещенной фонарями зеленки.

◆ ...Вспомнил Николай Андреевич ту давнюю косолученскую зеленку, мечтательно заулыбался, но тут же и загрустил. Уже лет двадцать, проживая в центре города, не был он в родном квартале. А недавно встретил бывшего соседа по односторонней улице, тезку Николая, ныне работающего в издательстве, что рядом с университетским городком. Поговорили. Как, мол, зеленка? Увы, отвечает бывший сосед, нет теперь такой. Еще в середине девяностых косолученский авторитет Федька Ржанный, ныне предприниматель и депутат чего-то с гражданским именем Федор Андреевич Ржанов, отчуждил зеленку от коммунального хозяйства, обнес по периметру трехметровым кирпичным забором, а за забором поставил трехэтажный особняк, рядом гараж на три машины, а на остальной территории разбил сад с аллеями, фонтаном и летним открытым бассейном. Плакала наша зеленка.

Еще Николай Андреевич, набираясь по жизни опыта, приметил: каждая зеленка города имела свой характер, который, что удивительно, и сейчас в общем-то сохранился у народа, проживающего окрест бывших зеленек. Даже если бы молодые поколения и вовсе такого слова уже не знают! Это как в генетической памяти человека; так и здесь своя, общественная, социальная генетика. Так ему пояснили много чего знающие коллеги по «универсу»: полковник Хмуров и доцент Язвишин с медико-физкультурного факультета.

Вот к примеру, та давняя зеленка его юности — косолученская то бишь. Ее характер — спокойный, неконфликтный. Это оттого, что основной процент жителей квартала — в первом-втором поколениях выходцы из деревень или выселенные с Западной Украины — тож деревенские. Да еще в городе культуры поднабрались, а

дети их и вовсе городскими стали, к культуре и знаниям в ритме жизни страны тогдашней тянулись. Отсюда и такой вот характер.

Но вот зеленка, что за главным корпусом университета, рядом с медико-физкультурным факультетом и студенческим стадионом, ныне которой и след простыл, вся застроена многоэтажками, — совершенно иная была: вороватая, хулиганистая, почти что разбойничий притон, этакая «малина» без крыши. А отчего? — Оттого, что тамошний квартал, возникший после войны, был застроен военнопленными немцами двухэтажными бараками и столько же этажными домами с коммунальными квартирами. Заселяли их по вербовке из разных мест для работы на резиновом, химическом и цементном заводах, на промышленных стройках. Многие перебрались сюда из ближней — за Южной железной дорогой — Китаевки — места совершенно оголтелого, как и все эти пригородные, точнее, прижелезнодорожные, Китаевки, образовавшиеся в начале прошлого века, после сооружения Транссибирской магистрали, наехавшими из Манчжурии китайцами.

...Китайцев еще в тридцатых годах повывезли на историческую родину, а скорее всего послали лес в Сибири заготавливать, но дух шанхайских триад переняли во всей полноте уже отечественные насельники Китаевки.

От зеленки осталась лишь помойка, учрежденная на том месте, и небольшой пустырь между помойкой и университетской котельной, но туда и сейчас опасно сунуться в вечернее время: убить не убьют, но ограбят точно. У помойки наркоши в открытую колотся, кражи в окрестных домах — обычное явление; стальные двери не спасают — замочные языки болгаркой срезают. А ведь уже третье поколение подрастает после ликвидации той зеленки! — Вот тебе и социальная генпамять.

...Зеленку же в квартале его нынешнего дома, от которой остался небольшой пустырь за помойкой, что напротив ЖЭК^а, не то что Николай Андреевич, но и супруга его, живущая здесь с детских лет, не помнит. Ибо ликвидировали ее лет сорок назад, когда сносили в квартале частные дома и ставили пятиэтажки. А что касается сохранения характера, то здесь самая прямая, человеческая генетика, ибо все прежние частнособственники домов переселились в пятиэтажки-хрущовки, не желая покидать свой квартал в престижном месте города.

Каков же это характер? Заставшая здешнюю зеленку восьмидесятилетняя баба Клава на вопрос Николая Андреевича пояснила в том смысле, что нрав их, еще частнособственного на дома, квартала был спокойным, не хулиганистым, тихо-запьянцовским у мужиков. Все потому, что до войны этот район, ныне престижный университетский и торгово-деловой центр города, опять же рядом МТС — областная милиция, тюрьма и стадион, до войны полагался далекой окраиной, полудеревенской (это как и косолученский квартал). А в ноябре-декабре сорок первого из окошек домов видели жители и танки Гудериана...

И действительно, выглянет сейчас Николай Андреевич из окна своего дома — полюбопытствовать погодой с утра — а во дворе, на лавке детского городка, уже сидят опохмелившиеся разведенным спиртом «от Зинки» местные мужики: Володькинженер, Женька-слесарь, Петруха — безработный (по своему желанию) с двадцатилетним стажем. Мирно беседуют про акциз казенки, неизменно высокое качество Зинкиного спирта. Тишь, благолепие. Годам к пятидесяти все пьющие мужики квартала выправляют себе инвалидную — ведь алкоголизм — это болезнь, да? — пенсию. И поддерживают тот же порядок жизни.

◆ Опять же про ЖЭК^{овскую} помойку: культурно-досуговую и политпрострвтовскую наследницу, правопреемницу здешней зеленки. Вот торопится доцент Николай Андреевич позднемаяским солнечным утром на коллоквиум... Тпр-р-у, здесь поясним. Уже привыкнув — после окончания инженерной — к преподавательской работе, Николай Андреевич даже не задумывался о смысле новых для бывшего

оборонщика самоназваний: конференция, конгресс, семинар... Несколько поначалу смущало слово «симпозиум». Но коллега, доцент и экс-полковник Хмуров весело разъяснил его этимологию: «Понимаешь, Андреяныч, это слово взято из более длинного определения, которое в Древнем Риме читалось и произносилось как «дружеское возлежание на коврах вокруг пиршественного стола с возлиянием разбавленного водой вина и обсуждением военно-политической и культурной жизни в Вечном городе». Они, черти древнеримские, вино разбавленным пили, самогоном брезговали. Вот почему и проворонили свою империю!»

Теперь Николай Андреянович сообразил: почему командируемые на симпозиум в Москву кафедральные коллеги подмигивают: «Едем, Андреяныч, на *винпозиум*. Давай и ты с нами, а?» А вот насчет коллоквиума даже полковник Хмуров и Язвшин рекомендуют ему обратиться к словарю иностранных слов. Да недосуг; дома словаря нет, а в библиотеку в главном корпусе специально идти не хочется.

...Итак, торопится Николай Андреянович к восьми утра на коллоквиум, проходит мимо ЖЭК'овской помойки, правопреемницы культурно-воспитательной и общественно-просветительной зеленки — торопится, но и примечает: уже самое оживленное место в квартале. Даже в такую относительную рань.

Опять же требуется пояснение градостроительного характера. Никто из окрестных долгожителей, даже знакомый Николаю Андреяновичу матерый архитектор из института «Гражданпроект», что поблизости, не смогли ему объяснить: почему в их квартале и в двух соседних все теплотрассы к домам выведены наружу и тянутся вдоль тротуаров на столбиках-опорах на высоте если не обычного стула, то уж точно седалищ у стоек баров, заменивших в годы великих реформ предприятия общепита — тяжелого наследия тоталитаризма.

Может в спешке великого строительства шестидесятых годов, забыв об инфраструктуре, сначала городили пятиэтажки на бутовых фундаментах, даже не забывая в землю бетонные сваи, а потом, схватившись за голову, тянули отопление поверху? Кто знает... Но, учитывая, что наземные эти трубы пришлось теплоизолировать, обернув трехдюймовым слоем технической ваты, а поверху рубероидом, незадачливые проектировщики-градостроители и вовсе сделали царский подарок жителям квартала: почти в сумме полкилометра мест для сидения и болтания ногами, причем сидения мягкого и с подогревом. Даже застарелый геморрой можно лечить.

Особенно в восторге пребывало уже четыре-пять поколений школьников и без счету уличных, то есть по статусу муниципальных, котов. Но именно из-за школьников и котов коммунальщикам приходится каждые два-три года заново обматывать часть труб техноватой и рубероидом. Школьники с удовольствием, сидя на теплотрассе, вспарывают перочинными ножичками рубероид и вытягивают вату. Она им совершенно не нужна, но ведь надо же чем-то руки шкодливые занять? А коты с наступлением морозов, как зверьки теплолюбивые, своими остро заточенными когтями рассекают рубероидную обертку, отгибают ее, вырывают ямку в вате почти до самой стенки огнедышащей трубы, сворачиваются в ней клубком, закрывают морду распушенным хвостом и — даже в редкостный нынче тридцатиградусный мороз кайфуют в полное свое удовольствие. Снятся им в тепле растрачиваемых гигакалорий великие бои в мартовские иды (это по древнеримскому, юлианскому календарю) и совсем уж невероятное: как коммунальный бог Тулуповска и бессменный гласный гордумы Прокопайко Дмитрий Федорович провел при единодушной поддержке депутатов от власти, Зюганова и Жириновского статью расхода на муниципальных Васек и Мурок: каждому усатому другу человечества отпускать в год по три пуда печенки, двадцать банок китекета, от пуза пшенной каши, а для проживания в теплых подвалах пробить им туда отдельные норы-ходы. Одно огорчает: коты обязуются вылавливать за квартал сто мышей и крыс. Пусть им спится и мечтается!

...Это все к слову, а Николай Андреевич все торопится на коллоквиум и зорко фиксирует помойку и ее окрестности.

◆ Около ЖЭК'овской помойки наружные трубы теплотрассы не просто огибают помоечную асфальтированную площадку, но еще и дают несколько заниженных к земле отводов в окрестные дома. Так что здесь мягкие и теплые сидища на любой рост и вкус: «барные» для школьников, высотой с обычный стул — серьезным людям и дамам, а самые приземленные, высотой с малую табуретку для детской мелюзги и мусульман, привыкших на исторической родине расслаиваться на коврах или атласных подушечках.

Вот и сейчас, в восемь утра, когда спала первая волна суеты около помойки — выгул комнатных собачек, справляющих нужду и заинтересованно приносивающихся к острому запахам из контейнера, — здесь пересменок. На трубах сидят «оранжисты» (не путать с военно-политической партией в средневековой Франции), то есть облаченные в оранжевые жилеты с надписью на спине «МУП Тулуповска».

На «мусульманской» трубе, что одесную помойки, скрестив ноги, устроился узбекский гастарбайтер Олег — имя русифицировано, ибо настоящее сложно для прозношения. Молодой, со средним образованием, уже третий весенне-летний сезон приезжает. Получает в день восемьсот рублей; у него в Ферганской долине семья с тремя малыми детьми, достраивает по зимам поместительный дом. Поначалу, когда добродетельные бабки начинали его жалеть: мол, отделились от нас, с голоду у себя пухнете, к нам вот за пропитанием ездите от семьи и от детей, Олег улыбался и объяснял: нет, у нас жизнь не хуже вашей, а еда и вовсе лучше, натуральнее, но если в баи, милиционеры или оптовые торговцы урюком не выбилась, то чтобы дом двухэтажный построить из кирпича и машину купить — надо два-три сезона в России метлой помахать. Ваши-то ленятся работать!

На средневысотной трубе, но уже ошуюю помойки, пригорюнились два местных, тоже молодых, дворника — из пьющих, поэтому дальше летних месяцев на работе не задерживающихся. Опохмелиться бы — но не на что. От скуки жизни курят «приму», завидуют мусульманскому трезвеннику Олегу, нехотя поддерживают с ним беседу на общеполитические темы, жалеют свергнутого Лужкова, у которого дворники едва не черной икрой и семгой водку «Абсолют» из Швеции закусывали... Добрым словом, правда, непонятно за что, поминают и почившего прошедшей осенью Черномырдина.

Олег весел и счастлив. Вчера, выметая мусор из-под наклонной стенки помоечного контейнера, вымел и «пятихатку», — а это уже два дармовых листа шифера на ферганский дом! По тамошним ценам.

...Но запомнил Олег слова пророка в суре «Преграды» священного Корана, слишком возгордился находкой. И сразу за радостью две неприятности. Сначала запяницевский дворник Петруха ошибочно назвал его киргизцем — наименованием враждебного племени. Начал было объяснять Петрухе его оплошность, но тут же вторую обиду схлопотал: выносящий мусор пенсионер-сталинист Томазов из ЖЭК'овского дома, услышав перепалку, хмуро заметил: «Все вы, басурманы, из Золотой Орды! Осипа Виссарионовича на вас нет! Вишь что вздумали: отделиться и своими ханствами жить, а к нам на заработки ездить».

И совсем в грязь втоптала Нина Семеновна, инженер ЖЭК'а. Она только что закончила раздачу нарядов на день слесарям и прочим ремонтникам, что нестройной толпой в восемь человек маялись поодаль, у дверей коммунальной конторы. Увидев рассеявшихся окрест помойки дворников, рассвирепела (мужик ее явился домой в шесть утра, явно от Ирки-любовницы): «Вы какого хрена — в оригинале другое слово — тут торчите? Ладно, эти пропойцы, а ты, Олег, хотя пить и не научился, а обленился, глядя вокруг, дальше некуда. Первый год только и работал на совесть! Уволю к едреной (в оригинале — другое) матери, поедешь в свой Чуркистан не солоно хлебавши. Метлы в руки и по своим дворам ма-арш!».

...Но Николай Андреевич уже заходил за угол «Трианона-24-го» и дальнейшего развертывания сценария второй стражи у помойки не видел, не слышал.

◆ Провел Николай Андреевич со студентами таинственный коллоквиум и еще лекцию на тему проектирования хвостового ракетного оперения прочитал. Заглянул в преподавательскую, нарвался на шефа. А тот ему новость, не огорчительную, но и не совсем приятную: «Во! А я тебя-то, Андреевич, и ищу. Со следующего учебного года Тарасов уходит в докторантуру, оголяет, стервец, курс взрывателей ракетных. Спец по ним еще Полковник, но отказался, дескать, ему пятый том своей монографии века дописывать. А мы тебе персональную надбавку в пару тысяч выьем... К сожалению, в рублях. Так что готовь к первому сентября конспект лекций».

Не привыкши откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, огорошенный Николай Андреевич спустился этажом ниже, зашел в спецбиблиотеку, взял на дом книгу по взрывателям — с грифом «Для служебного пользования». Уже дома рассмотрел вытертую, но на свет читаемую надпись какого-то студиязуса под словом «служебного»: «унитазного».

...А увидев на стеллаже справочной литературы словарь иностранных слов, наконец-то выявил смысл слова коллоквиум — учебное занятие в форме свободной беседы преподавателя со студентами с попутной оценкой уровня и прочности их знаний. «Надо же,— удивился Николай Андреевич,— как у тещи, что в свое время защитила педагогическую диссертацию по прочности знаний. Сейчас же эти оболтусы прочно помнят только одно: текущий курс доллара-евро, да еще, пожалуй, кто из девок их курса честная давалка, а кто не мытьем так катаньем стремится с женьтибой захомутать...».

Втиснув не очень толстую книжку в свою папку, отправился на домашний обед с винегретом, борщом и жареной треской. Вспомнив о треске, усмехнулся: сегодня же четверг, бывший советский рыбный день! Интересное совпадение, ибо супруга, преимчивая, как и весь женский пол, давно отвыкла от совка — как распоясавшиеся теледебатчики сейчас именуют советскую эпоху.

Полдень. На улице ни души, как в какой-нибудь Испании — сиеста. Только непрерывные колонны импортных легковушек туда-сюда, явно сами не зная куда и зачем, по проспекту и даже по переулкам движутся. Да так плотно! — Бампер каждой последующей чуть не впритык в задок впереди идущей. Этот как в скорострельных грязевских пушках из НПО «Меткость»: острое вылетающего из ствола снаряда упирается в донце предыдущего.

Но вот обогнул наш доцент трианоновский ночник, вышагал внутренний угол перпендикулярно сращенных безымянного и ЖЭК'овского домов — и вот тебе на окружающем безлюдье толковище у помойки!

Прямо на траверсе ее Николая Андреевича поприветствовал проживающий в ЖЭК'овском доме, потому давно ему знакомый, проректор университета Карпухин. Он, видимо, куда-то собирался ехать — новенький его «мерседес», которыми все уважаемые в вузе люди обзавелись как-то одновременно пару лет назад, сдав прежние отечественные «лохомарки» в утиль, стоял на тротуаре напротив подъезда, из которого деловито и выходил Карпухин.

— Привет, Андреевич! На обед направляешься?

— Вроде того, Евгений Николаевич. А вы (до перехода в университет «ты»), небось, по делам увязки, согласования и конкретного охвата?

— Ха-ха! А я навряде того. В администрацию, в комитет по науке и образованию на совещание по инновациям и... как их? — По инвестициям в науку. Ректор за себя послал.

— О-о, Евгений Николаевич, у вас новый номер? И не простой: три пятерки и три «о».

— Друг подарил из *ГАИ*. А что — заметно зато.

— В наше динамичное лучше такой номер иметь, чтобы только зубрежкой можно запомнить.

— Ты думаешь?

В таком же наклонении необязательная беседа длилась еще пару-тройку минут, пока веселый проректор протирал тряпочкой ветровое стекло. Махнув рукой соседу, Карпухин сел в мерс и порулил на выезд из квартала. Николай же Андреянович задумался над очевидной вещью, но ранее четко не сформулированной. Действительно, в наше время каждый дарит что-либо из атрибутов своей профессии: гаишник — «блатной» номер, часто издающий свои научные труды полковник Хмуров — очередной увесистый том, чиновник из администрации — почетную грамоту по своему департаменту, браток братку — пробивающий бронезильт, солидно-тяжелый «ТТ»... И так по возрастающей — до олигархеров, лауреатов журнала «Форбс», что дарят крейсерские яхты и футбольные клубы. Вместе с командой бразильянцев.

◆ Разговаривая с проректором и размышляя об иерархии подарков, Николай Андреянович не упускал из виду шумящую помойку. Третья, начиная с утра, перемена декораций. Из утренней сцены на своей низенькой трубе сидит только иностранный дворник Олег. Небрежно подмел свой двор, про себя матерясь по-русски, а теперь с восторгом смотрит «телевизор» — сидящих по другую сторону контейнера на средневвысоких трубах двадцатипятилетних честных содержанок Нельку и Наташку. Первая проживает в *ЖЭК*овском доме в своей однушке, а Наташке ее «спонсор» снимает двухкомнатную в перпендикулярном доме.

Содержатели — крепкие сорокалетние торговцы средней руки. Нелька и Наташка честно отработали сегодняшнюю ночь — визиты «спонсоров» совпали случайно, — до полудня отоспались, созвонились и вышли подышать свежим воздухом: на народ посмотреть, себя показать. Беззлобно дразнят Олега: закинули точеные, в меру загоревшие ножку за ножку, так что коротенькие и без того юбочки разве что боковины ягодиц прикрывают. Тулова у обеих почти символически прикрыты маечками на бретельках; заканчиваются чуть повыше пупков. Груды — у Нельки побольше, у Наташки поменьше — подпружинены снизу по новой моде специальными бюстгалтерами и обнажены наполовину. Волосы — у Нельки прямые, у Наташки чуть вьющиеся — игриво обтекают обнаженные плечи. Содержатели скуповаты, даже платят не из кармана, а по ведомости в своих *ООО*, где они оформлены офис-менеджерами. Что поделаешь, подруга, вздыхая, говорят порой друг дружке: перестарки! Самые спросовые годы провели по требованию совковых родителей в универе. Теперь и специальностей своих уже не помнят.

Покачивая закинутыми ножками в лаковых туфельках с двенадцатисантиметровыми каблуками, прелестницы, то и дело поднося к ярко-алым губам длинные тонкие сигаретки, раззадоривают от нечего делать гастарбайтера:

— Олежек! Ты все жене верность свою хранишь, да? А мы разве хуже ее, а? Пошли с нами, кофейку пьем, подурчимся.

Понимает Олег — шутки все это, но — приятно ему, большую часть года перебывающему без женской ласки. Куда ему до таких длинноногих, с высшим образованием!

Потомственная дворничиха в отставке баба Алла, весь световой день кружащаяся вокруг помойки, стыдит девок:

— Бесстыдницы! Шли бы, как все люди, торговать на рынок, а то все хахалей ублажаете да парня в краску вводите. Скоро время пройдет, хахали к молодым перекинутся, останетесь сами-одни. А так бы торговали, замуж вышли...

— Да что ты, баба Алла! Разве женихов свободных на всех хватит, ха-ха-ха!

Здесь Алла своими зоркими восьмидесятилетними глазами заприметила, как

роющиеся в контейнере ихнего квартала бомжи — двое мужиков и баба — что-то нашли, из-за чего слегка разодрались, и заторопилась в их сторону: утихомирить и полюбопытствовать находкой. Нелька же с подругой шаловливо послали Олегу воздушные поцелуи, тотчас забыли о нем и бабе Алле, закурили по новой сигаретке и завели серьезный разговор: попросить у более состоятельного Наташкиного кобеля поставить интернет, а по нему отыскать себе женихов из Австралии или Новой Зеландии: пора, подруга, пора бежать из этой Рашки, пока, как правильно Аллка говорит, груди не обвисли и попки не отяжелели. А то кобели скоро нас затрахают!

◆ Рядом с Олегом, но на более высоких трубах сидят два пенсионера. Оба из отставных инженеров. Один — сталинист, читает газету «Завтра». Другой какую-то либеральную, вроде как «Комсомольская правда в Тулуповске». Зачитывают друг другу интересные места по части внешней и внутренней политики. Иногда соглашались, но бывает и слегка переругиваются. А с «девичьей» стороны на «барную» трубу забрался ярко-рыжий, с тигровыми полосами Зинкин кот Баюн, устроился поудобнее, сузив в щелочку от яркого солнечного света глаза, свесил передние лапы и пушистый хвост с трубы, отдыхает от дневного сна в квартире, слушает содержания, набирается ума-разума в человеческих делах.

За помойкой, со стороны пустыря, на неизвестно зачем и кем привезенной бетонной балке, с постеленным для мягкости траченным молью ватным одеялом из контейнера, сидят рядком пятеро давешних ЖЭК'овских слесарей. У них законный обеденный перерыв: закусывают Зинкину разливу ливерной колбасой из «Трианона-24» с горбушками черняшки. На закуску «билет в Большой театр» им презентовала добрая по характеру Наташка.

А влево от помойки на толстой магистральной трубе, как вороны попеременно с пестрыми сороками, расселись отучившиеся на сегодня школьники и школьницы не старше восьмого класса. Школа их через улицу от квартала. До недавнего времени улица носил имя основоположника исторического материализма Фейербаха. Теперь же комиссия по историческому наследию при департаменте культуры переименовала ее в Спасовознесенскую. У пожилого народа все в головах перепуталось; не мудрствуя лукаво, стали улицу называть Фейербаха Вознесенского. Школьники же для прочного усвоения полученных сегодня знаний курят, пьют пепси-колу, а кто и пиво, матерятся. Школьницы же во все глаза наблюдают за Нелькой и Наташкой, профессия которых им хорошо известна — в одном квартале живут. Учатся впрок их манерам. Пригодится.

Напротив помойки, на тротуаре небольшая кучка взрослых женщин из ЖЭК'овского и соседних домов: по объявлению на подъездных дверях ждут приезда самого Прокопайко Дмитрия Федоровича: по вопросу устройства на запомоечном пустыре детского городка — выборы в гордуму на носу!

...Уже Николай Андреевич с возбужденным борщом аппетитом хрустит поджаренной с корочкой — как ему нравится — треской, а к заспавшемуся Баюну вспрыгнула на высокую трубу его верная подруга, муниципальная кошка Ряба, прилегла рядком. Проживает она в подвале «перпендикулярного» дома. Очень уважает Баюна. Потому чаще всего котятки такой же тигровой расцветки, с пушистыми хвостами получают.

Баюн живет богато, стоит на квартире второго этажа дома за помойкой, обочь пустыря у Зинки — самого уважаемого в квартале у пьющих жителей человека. В каком-то смысле ее ставят рангом выше самого благодетеля квартала Прокопайко Дмитрия Федоровича. Еще в совковые времена она окормляла окрестный народ качественным самогоном, в горбачевское лихолетье из томатной бражки, ввиду отсутствия в продаже дрожжей, гнала.

После объявления свободы предпринимательства пошла «под крышу» братков-

спиртоношей. Те ей раз в неделю привозят несколько многолитровых пластмассовых бутылей со спиртом. Она их оплачивает, разбавляет — все по технологии! — кипяченой водой, разливает в мелкую тару и продает на дому. Раньше, в лихие девяностые, братки в физкультурных костюмах и кроссовках подвозили спиртыгу на затерханном «козле» с открытым кузовом. Теперь же на фирменном микроавтобусе с надписью «Ключевая вода с доставкой в офис и на дом». А сами доставщики в выглаженных ярко-зеленых комбинезонах, под которыми рубашки с галстуками. На головах зеленые же бейсболки. По фене не ботают, разговаривают вежливо. Культура!

◆ Прошлым летом зазвал Баюн подружку к себе в гости. Дверь в Зинкину квартиру летом всегда полуоткрыта: постоянно вода для разбавления спирта кипятится, пар стоит, проветриваться надо. Робея, вошла Ряба в хоромы, а Баюн смело, похозяйски ведет ее на кухню и кивает мордой на плоску со своей дневной пайкой: обданная кипятком печенка, перемешанная с китикетом и кашей. Ешь, мол, я сыт. Ух и наелась Ряба до отвала барской еды! Потом присели оба на входе в большую комнату, а там за обеденным столом Зинка угощает двух милиционеров — Ряба хорошо их по мундирам от других людей отличает.

Слова человеческой речи Рябе не ведомы, но хорошо она понимает ее по интонации. Зинка же соловьем разливается: «А вы, Ринат Шарифович и Виктор Палыч, се-мужкой-то не брезгуйте. И сальца-то, сальца под водочку. Сама сальце солила, для себя. И водочку для таких уважаемых людей держу специальную, на ключевой воде спирт разбавляю. Мне ее мужики дворовые за пол-литру с Серебрянского ключа приносят. А спиртик у меня со Стародворского спиртзавода, пшеничный! И напрасно говорят людишки, что травятся моей водочкой. Дескать, двое в прошлом годе отравились. Клевета это, навет. Как было Косте-типографщику не примереть, если он в запой впал и по два литра в сутки потреблял? А второй, имени даже не знаю, действительно, отравился, но не моей, а Тамарки-стервы, что за проспектом торговлю держит, «максимку» водой водопроводной разбавляет, а чтобы мути не было видно, так кофеом закрасивает. И чего он, бедолага, к нам-то приперся? Где купил, там и пей! А я вам в дорожку пару полторашек на ключевой воде — вот в пакет ложу. Не побрезгуйте. Вечерком дома с устатку и выкушаете».

...Баюн не только богатый, но и заботливый. Вспоминает Ряба. В позапрошлом году, как окотилась она не в срок, в самом конце октября. Мороз раньше времени тоже ударил, а с отоплением авария, уже неделю чинят, что-то серьезное. Жильцы-то от электрического тепла греются, в шубах дома ходят, а Рябе с котятками куда из промерзшего подвала деваться? Главное — бабуси из семнадцатой и двадцать второй квартир, что приносят ей еду и ставят на вентиляционное окошко, либо, если в свои кладовки за картошкой или чем иным в подвал заходят, то и прямо в уголку, где Ряба на старом стеганном одеяльце проживает, ставят блюдца, видно, старые, замерзли-захворали. Не приходят.

Ряба голоднущая, да перед окотом сильно простудилась: воду пила, что из трубы капает на пол и тут же замерзает. Так полуледяную пила и простудилась. Окотилась, а с места стронуться, чтобы мышку-другую поймать, не может: голодная, трясется вся от холода и своей простуды. Молоко не идет, котятки писком заливаются. Ну, думает Ряба, смерть ей и котяткам пришла. Карачун.

...И уж совсем было собралась Ряба глазки закрыть, как — шашь в вентиляционное окно Баюн! Подошел, лизнул ее, котят и быстро-быстро назад. Все, даже он ее покинул. Но нет, через полчаса разбудил ее, предсмертно задремавшую, Баюн, а прямо перед ее мордочкой лежит половина вареной курицы, еще теплая.

Никогда столько Ряба за один присест не ела! Все съела, даже косточки мягкие сгрызла. И пить перестала хотеть: в свежесваренной курице соку много. Озноб сразу прошел, молоко так и рвется из сосков, котятка пьют и все напиться с голодухи не

могут. Потом отвалились. Свернулась Ряба клубочком, закрыв деток своим боком, а сверху и хвостом, заснула, счастливая. К ночи уже встала, поймала и съела двух мышей. А утром проснулась: котята ее сосут, по трубам вода с бульканьем течет, от них тепло на подвал нисходит, а лужица под протекающей трубой уже не замерзает. Только кошка напилась вволю, как обе бабуся с едой и причитаниями явились — жива, мол, наша красавица!

Хорошие котятки, всего-то четверо, тогда у нее поучились — все как один в Баюна. И, слава кошачьему богу, кошечка только одна, трое — коты. Когда подросли, удачно кошечку пристроила на службу в логопедический детсад, рядом с домом. Там при кухне как раз освободилась должность мышелова, котов на эту ставку не берут — те от обильной еды ленятся мышей ловить. Двух котов по квартирам разобрали в их квартале, а третьего взяли в парикмахерскую в соседнем.

...Мечтает Ряба, лежа на трубе обок Баюна: хорошо бы Зинка разрешила ей с котом в хоромах-то своих квартировать. Она бы хоть каждые два месяца по семь-восемь котят в окот давала. А Зинка их по одному впридачу к бутылке разливухи присовокупляла. Пьяницы — народ добрый. А в квартирах у них пусто, неприкаянно, все от них уходит. Тут же котик веселый играет, за своим хвостом охотится. И у пьяницы, глядя на него, веселее на душе. Может и снизит он свою суточную норму с литра до четвертинки?

От таких добрых чувств и мечтаний присела Ряба «копилкой», принялась выливать дремлющего Баюна.

◆ Идет Николай Андреевич после обеда и солдатских полчаса дремоты на диване обрат в универ. На помойке народу прибавилось: еще пара пенсионеров с газетами расселись по трубам, мамыши-колясочницы подошли, начали задирать Нельку с Наташкой. Из зависти, понятно. Те же, девки добрые, в свару не ввязываются, поднялись, одернули свои коротенькие юбочки, подмигнули Олегу-иностранцу и отправились к Наташке кофеи гонять. А к кофеям — непочатая бутылка миндального ликера, коробка хороших бабаевских конфет и две стограммовые баночки икры — красной и черной; все вчера принес более богатый и чуть меньше жадный Наташкин содержатель. Сам же он на ночь любви и еще два раза ночью «в перерыв» пьет только водку «Диамант» и закусывает приготовленным Наташкой мясом. — Вырезкой, хорошо прожаренной с луком.

Сделав небольшой крюк влево, подружки покупают в трианоновском ночнике свежих кунцевских булочек к икре и мороженое к кофе с ликером.

Поскольку же у обеих ночь сегодня непосетительная, содержатели в семьях отдыхают, детишек воспитывают, то под ликер и икру заболтаются они до темноты, Нелька останется у Наташки, улягутся они рядышком на просторном «сексодроме» и уснут сном праведниц. Не подумайте, что извращенки они! Просто как сестры-близнецы давно стали, вдвоем им теплее и душевнее в этом жестоком, расчетливом мире.

...А Николай Андреевич отчитает свою послеполуденную лекцию, побеседует с полковником Хмуровым и доцентом Яцышным, потом кафедральное заседание: верстка планов и учебных нагрузок на следующий учебный год. А раз рыбный день сегодня, то к вечеру заглянут усеченным коллективом, то есть с Полковником и парой других доцентов, в соседнюю с корпусом простонародную кафешку — выпить по паре-тройке стопок недорогой водки под рыбное ассорти. Полковник, накануне сформулировавший и блестяще доказавший главную теорему пятого тома своей монографии, разошелся, выкинул на стол пятачку: гуляем, братва!

...Словом, возвращается Николай Андреевич домой в неурочный час, уже в темноте, правда, супруге позвонил и предупредил, как только Хмуров козырнул своей «пятихаткой».

Мимо помойки он старается проскользнуть в тени деревьев — от фонарного на

столбах света,— окаймляющих тротуар: чтобы не услышать от оккупировавших все трубы теплотрассы студентов несколько насмешливое: «Добрый вечер, Николай Андреевич!» Ибо через дорогу — со стороны ночника и «перпендикулярного» дома — целая шеренга пяти- и девятиэтажных университетских общежитий, а ближайшее — их факультета. Идти им больше некуда: все культурные мероприятия в городе дорого стоят, а у общежитских только и хватает на самое дешевое пиво. Место удобное: есть где присесть, ночник в минуте ходьбы...

Это предпоследняя декорация. А последняя — когда к полуночи возвращаются из казино и других культурно-досуговых мест мелкооптовые торгаши. Они ставят свои «лендроверы» впритык бамперами ко всем четырем стенкам помоечного контейнера. Николай Андреевич этого поначалу не понимал, но разъяснил сосед-проректор: «Во-первых, фонарь над помойкой всю ночь горит. Во-вторых, по весенне-летнему времени ребята с пивом до рассвета окрест колобродят, то есть колесное ворье здесь не разгуляется. А в-третьих, угнать упертую бампером в помойку машину, тем более они впритык друг к другу стоят, дело, как по другому поводу говорил Владимир Ильич (проректор — бывший при совке доцент кафедры истории КПСС), архисложное. Вот так-то. Голь, даже торговая, на выдумки хитра!»

...Пришел Николай Андреевич домой. Супруга еще не спит, с увлечением смотрит по телевизору *топ-шоу* «Русский Голливуд». Вышел он в раскрытую на ночь по причине необычно жаркой поздней весны балконную дверь. В домах квартала все окна темные, но с синеватым проблесками от экранов телевизоров; вся страна смотрит и не нарадуется: теперь и Голливуд у нас имеется! Во дворе дома — ни души, только со стороны помойки веселые крики и даже песни в унисон.

Да-а, думает уже засыпающий на ходу Николай Андреевич: русский Голливуд, в доме напротив вывеска: *ООО «Русский банан». Культура! Помойка!*



Роза Нарышкина*
(г. Алексин)



КАТЯ

1

Жили мы в одном доме. Я помню ее голенастой сероглазой девчонкой-подростком, вокруг которой постоянно вились мальчишки. «Катюшка! Это свой парень, не продаст, не выдаст!» — говорили о ней. Росла без отца, потому что родители умудрились разбежаться по углам, забыв, что когда-то любили. А может быть, и не любили вовсе? — думала Катя, глядя на тоскующую мать, еще довольно не старую и привлекательную. А отец? — стал одиноким и неустроенным, одним словом, бомжем (ни кола, ни двора!). Она, Катя, любила отца, жалела, да и похожа на него, как две капли воды. Когда узнала, что он трагически погиб (замерз в одном доме, где никто не проживал), сама еле выжила от шока, все звала его во сне, ни ела, ни пила, — мать серьезно заволновалась, вызвала «скорую»...

И вот теперь Катя снова была в окружении молодых людей, каждый из которых надеялся на взаимность, мечтал быть для нее единственным. И немудрено. Высокая, стройная, лицо доброе, серые глаза смотрели серьезно, в ней не было того кокетства, что обычно наблюдается у девушек. Жила она с матерью и маленькой дочкой Оленькой, девочкой хрупкой, сероглазой, как сама Катя. У Кати своя история краткой жизни.

Еще в школе в нее влюбился одноклассник Дима, красивый и бойкий по характеру мальчик. Любовь, первая и робкая, захватила обоих, хотя Катя, девочка тихая, застенчивая, его внимание воспринимала с робостью. Однажды Димка написал ей письмо с объяснением в любви, потом, в ответ на долгое молчание, решил навестить ее. Позвонил, — открыла мать Кати.

— Здравствуйте. Я Дима, можно видеть Катю? — робко спросил он.

— Кати нет, но ты можешь подождать, скоро будет.

— Спасибо. Я, пожалуй, дождусь ее, — сказал Димка и присел на стул тут же.

— Ты проходи в комнату, Дима! — пригласила Дарья Ивановна.

Впервые он вошел в квартиру любимой девочки, стал осматриваться: аккуратность во всем, чистота, обилие книг, стоящих на полках. Классика XIX века, современная проза... «Много, наверно, читает моя Катя», — отметил он с гордостью.

Стук входной двери — на пороге Катя.

— Это ты? Зачем пришел? — Димка молча опустил глаза.

— Дочка, как можно? Дима у нас в гостях! — укорила мать. — Сейчас будем пить чай со свежими булочками, — добавила она и ушла на кухню.

— Катя, ты получила мое письмо? — с тревогой спросил Дима.

— Ну, получила. Что с того? — насмешливо спросила она.

— Я ждал ответ, а ты молчишь, избегаешь меня!

* Наш постоянный автор.

— Димка, мне пока не до писем! — озабоченно сказала Катя.
— А что случилось?
— Родители разошлись. И что с отцом, я не знаю.
— Новость! Многие разбегаются... Я, конечно, сочувствую, но, поверь, это не конец света!
— Тебе легко говорить: твои живут вместе с тобой, а я о родителях думаю даже на уроках...
— Не убивайся, все образуется, разберутся твои...
— Надеюсь, но я люблю их обоих.
— А я тебя люблю, Катя!
— Не будем пока об этом. Экзамены на носу, выпускные.
— Хорошо, не будем пока, — согласился Дима.

Чай пили молча, изредка переглядываясь через стол, на котором стояли булочки, ваза с вишневым вареньем, фрукты.

— Пейте чай, заварила с травами, — угощала Дарья.

С тех пор Димка стал бывать у Кати часто, иногда помогал ей по математике и физике, эти науки давались ей с трудом, — она любила литературу, даже писала стихи, с которыми выступала в школе. Мальчишки уделяли ей внимание, и Димка ревновал, бывали и разборки, но кончались они мирно: Катя умела уладить конфликт. В учительской поговаривали о влюбленной парочке: кто осуждал, кто снисходительно улыбался (первая любовь!).

Прошли экзамены в школе, и Димка готовился в политех, Катя пошла работать на завод — семья жила скромно. Работа на Арматурном заводе была несложной, но вредной: приходилось иметь дело с цеховой стружкой, уставала. Димка поступил в институт, и для него начались годы учебы, дружеские встречи, но в этом новом мире он не забывал девочку с серыми глазами и тихой улыбкой. «Милая! Как она там без меня, трудно, ведь она такая тоненькая, хрупкая! Да еще подвернется какой-нибудь негодяй, обидит», — с тоской думал Димка, слушая лекцию по математике.

Прошло три года. За это время были встречи, новые знакомства, студенческая община закружила, завертела, и Катя смирилась с потерей друга. Жизнь ее не изменилась, если не считать новых знакомств, среди которых она выделила одного, влюбленного в нее вот уже два года. Он не мог понять, отчего Катя равнодушна к нему, любая девушка была бы счастлива... И правда, Вася хорош: крепкий, юноша спортивного типа, глаза черные, как ночь, улыбка... но Катя ждала свою школьную любовь, своего Димку, с глазами синими, как васильки в поле.

Наконец, он появился... позвонил:

— Катюша, я в Алексине, приду на завод.

— Димка, у тебя каникулы?

— Да-да! Экзамены позади, и я у ваших ног!

— Грибоедова не забыл! Похвально! Я жду тебя! — прокричала Катя, в цехе шумно.

— До встречи, девочка моя, любимая! — сказал счастливый Димка.

Встретились у проходной завода. Катя гордо шагала, взяв его под руку, молча, а сердце переполнялось любовью и надеждой. Девчонки косились на нового парня, перешептываясь и удивляясь: откуда он взялся у этой тихони?

Катя хлопотала на кухне: сварила картофель, приготовила рыбу (он любил белую пикшу), украсила зеленью и подала на стол. Дима поставил бутылку «Шампанского», фрукты, коробку «Ассорти». Потом сказал, глядя ей в глаза:

— А ты изменилась, моя хорошая! Повзрослела...

— Поздравляю тебя, Дима, с окончанием третьего курса! — весело сказала Катя.

— Спасибо. Я очень рад нашей встрече.

— Я — тоже. Почему ты редко звонишь мне?

— Часто времени не хватает. Учеба, зачеты, подготовка — к вечеру валишься, как подкошенный,— оправдывался Димка.

— Можно подумать, что ты, кроме лекций, нигде не бываешь,— обиделась Катя.

— Бываю с друзьями в театре, по случаю на днях рождения. Катя, ты меня ревнуешь?

— Вот еще! — надула губки Катя.

Димка встал, подошел к ней и, неожиданно взяв ее на руки, понес в другую комнату, где стояла широкая деревянная кровать. Положив на кровать, он стал страстно целовать ее в губы, шею — Катя не сопротивлялась, близость с ним ее не пугала, тело давно тосковало по его рукам. Они были одни (мать уехала к сестре), это настроило Димку на эротический лад. Шампанское шумело в голове, волновало кровь, и оба не заметили, как оказались в маминой постели раздетыми; Катя прижалась к нему горячим телом, ощущая каждой клеточкой страсть и желание принадлежать ему. У писателя Яшина есть изречение: «Сексуальное чувство девственницы есть еще только мечты ребенка, играющего в капитаны, о настоящем командирском мостике». Катя давно осознала потребность любви в новом качестве, ее тело созрело для физической близости, и она ринулась с головой в омут новых ощущений.

— Я люблю тебя, Димка! — шептала девушка, обнимая его тело тонкими и нежными ручками.

— Милая, наконец-то мы вместе! — отозвался он в сладкой дреме. Оба неожиданно уснули, не заметив наступления ночи, скрывающей и порывы страсти, и тайну узнавания.

Утро, солнечное и теплое, пробудило новые желания, и Катя, ни о чем не жалея, грустила лишь о том, что Дима уедет, учиться-то еще два года, и всякое может случиться с ним, и с ней. Он уехал, и потянулись будничные, тягостные дни в работе, в домашнем быту; скоро она почувствовала, что с ней что-то происходит, и Дарья первая завела разговор:

— Доченька, я вижу, тебе часто плохо, совсем не ешь...

— Нет аппетита, мама.

— Сходи к врачу, послушай мать.

— Ладно, как-нибудь выберусь. Сейчас работы много!

Но ждать долго не пришлось — рвота, потеря сознания вызвали тревогу, врач определил беременность.

Катя приняла эту новость как должное, это ведь ребенок и Димы, она будет любить и заботиться о нем, а Димка пусть спокойно учится. Но он должен знать о ее материнстве, как-то он примет эту новость?!

2

В одну из встреч Катя сообщила Диме о рождении маленького человека и с радостью заметила, что он доволен:

— Поздравляю! Ты кого хочешь?

— Конечно, девочку, но если родится мальчик, буду любить тоже.

— Мама знает?

— Да! Это она заметила мое состояние и погнала к врачу.

— Катенька, прости, я плохой помощник: сама знаешь, надо закончить институт...

— Не волнуйся! Мама поможет...

Родилась девочка, назвали ее Олей, и пошла она личиком в Диму, а худенькая и тихая — в Катю. Получив диплом, Дмитрий приехал в родной город, чтобы устроиться на работу, вступить в брак с любимой и воспитывать дочку. Жить стали в ее

доме, девочку определили в детский сад (Дарья еще работала). Все было хорошо, ничто не омрачало молодую семью, девочку любили и холили. Но Катя стала замечать, что Дмитрий на работе задерживается, с ней говорит неохотно, и она почувствовала неладное; скоро через друзей узнала, что у Димы есть женщина, с которой он вместе работает (производственный роман!). Это больно, Катя почувствовала укол в сердце, и впервые она пригубила в одиночестве бокал вина, чтобы успокоиться,— это помогло. На время, но боль души осталась. Разборок не было, Катя замкнулась в себе и ждала... И все же разговора было не миновать, она начала его первой:

— Дима, у тебя появилась женщина? — спросила Катя, глядя в глаза мужа. Он молчал, боялся ее обидеть, потом все же решил откровенно сказать, что его волнует.

— Катюша, я запутался,— печально признался он.

— Ты ее любишь? — с тоской спросила Катя.

— Я тебя и Оленьку люблю.

— Определись, Дима! Я измену терпеть не буду!

— Ты не волнуйся! Все станет на свои места,— уверенно сказал он

— Когда? — насмешливо спросила она.

— Я постараюсь...— начал он.

— В чем ты постараешься? — Дмитрий молчал, не зная, что сказать.

Катя поняла одно: жить по-прежнему они не будут, обрывается ниточка, связывавшая их на долгие годы. Однажды, придя с работы, он увидел Катю, лежащую на широкой маминной кровати, она была пьяной и сладко спала. «Странно... Ах да, у нее выходной. Но все же, отчего напилась?» — встревожился Дмитрий. Разбудив ее, он решил поговорить:

— Катя, ты стала выпивать?

— Могу тебе налить, дорогой!

— Повода не вижу,— укоряюще сказал он.

— А у меня есть повод: я провожаю Любовь! — воскликнула Катя и засмеялась.— Да-да, свою первую Любовь! Да здравствует свобода!

— Глупо. Совсем не смешно,— грустно сказал Дмитрий.

— Уходи, Дима, к ней. Я отпускаю тебя.

— Я еще не решил...

— Я решила. Уходи, так будет лучше для всех нас!

Молча, ничего не говоря в свое оправдание, он собрал свои вещи в спортивную сумку и ушел... но не к ней, а пока к родителям. Это был первый шаг к разрыву, определившему их будущее.

Катя осталась одна. Что делать? Выгнала, сама выгнала отца своего ребенка, что же дальше, как жить?

Василий не дремал, узнав о ее разрыве с мужем: он давно любил эту женщину, тихую, с задумчивым взглядом серых глаз, часто грустных в последнее время. Не надеясь на взаимность, он все же стал уделять ей внимание, сердце не камень, оно дрогнет от его любви и нежных ласк. На время Катя забылась, ей показалось, что сможет привязаться к Василию, но только на время, а Димку постарается забыть, вычеркнуть из своей жизни. Дмитрий не приходил, пожиная горькую обиду: выставили, как ненужную вещь, рассталась просто и легко, даже не плакала. Обида захлестнула, не давала покоя, но идти к ней не хотелось, хотя тосковал и по ней, и по дочке. Он начал ощущать свое одиночество, с родителями не говорил об этом, да и они сами не вмешивались: молодые разберутся.

А Катя по-прежнему после работы и по выходным принимала допинг и скоро ощутила необходимость для успокоения души. Василий бывал у нее часто, привязавшись и к ней, и к ее дочке Оленьке, но скоро понял, что хорошей женой Катя не станет в своем тяготении к алкоголю. С работы ее уволили за прогулы, по вечерам

она теперь часто плакала, сетуя на горькую долю одиночества. Сердце матери разрывалось от страданий, единственно, кто был для нее утешением и заботой,— это крохотное создание, внучка Оленька, с такими серыми глазками, как у дочери Кати. Дмитрий приходил не часто, и соседи, увидев молодых супругов на лавочке, качали головами, судачили:

— Голуби-то наши!

— Не говори, жить бы и жить!

— А кто виноват?

— Говорят, он загулял.

— Хрен с ним! Не обращала бы внимания!

— Ты права, Ивановна! Куда б он делся, дочка у них!

— Но она теперь пьет. Зачем ему такая?

— Мужчина к ней ходит. Видный такой, вертит им... как захочет...

— Катя изменилась. Не работает, сидит на шее у матери.

— Бедная Дарья! То муж пил, теперь дочь...

Потом появился красавчик Славик, высокий, стройный, с веселым взглядом голубых глаз, темные волосы спадают до плеч. Катя увлеклась молодым человеком, приняла его ухаживания восторженно, с ним было легко и просто. На время пришло забытие, тоска по Димке отошла на второй план, новое увлечение закружило вихрем, она давно не задумывалась о том, что жизнь ее катится по наклонной, завтрашний день не тревожил. Как-то позвонил Дмитрий, и сердце слегка колыхнулось:

— Здравствуй! У тебя все хорошо?

— Наверно. А что?

— Как наша дочка поживает? Не болеет?

— Не болеет. Бабушка следит за ней, забирает из садика.

— Тебе, конечно, некогда за кавалерами,— упрекнул он.

— Не язви. Я за тобой не слежу.

— Не обижайся. Выходной будет,— приду к дочке.

— Ладно,— примирительно ответила Катя.

Сердце заныло, Димка, родной и такой теперь для нее далекий — она узнала, что у него в доме появилась женщина. Она по-прежнему не работала, пила, что подвернется: бутылка пива или угостят водкой, иногда напивалась так, что не могла подняться, повалившись на широкую кровать, ту кровать, на которой они с Димкой провели первую ночь Любви. Он пришел, как и обещал, в выходной день, и Оленька, как всегда, бросилась к нему с радостью ребенка.

— Папочка, почему ты с нами не живешь?

— Когда ты вырастешь, то поймешь нас с мамой, надеюсь, что поймешь.

— Долго ждать. Я хочу знать сегодня. Мама без тебя часто плачет...

— А ты пожалей маму!

— Я жалею, а потом мы вместе плачем,— тихо сказала Оленька, и серые глазенки подернулись детской слезой.

— Маленькая моя, я буду приходить чаще... Я очень люблю тебя!

— А маму? — Дмитрий молча кивнул головой, что означало «да».

После этой встречи Оля плохо спала, вскрикивала во сне, засыпала по-настоящему под утро, и Катя начинала бунтовать.

— Знаешь, лучше тебе не появляться у нас! — сказала она Дмитрию.

— Что случилось?

— С Олей плохо. Она тяжело переживает наш разрыв, все понимает дочка...

— Я все равно буду приходить! Чаще приходить! Родители мои хотят видеть свою внучку.

— Хорошо. Я Олю отпущу с тобой.

— Это будет умно, Катя. Мы ей близкие, родные люди. Мать моя просто иногда плачет о внучке.

— Дети не виноваты, что взрослые бывают дураками! — с горечью воскликнула Катя.

— Не будем ссориться, Катя! Мы о многом говорили с тобой...

— У тебя теперь женщина в доме!

— Зачем упрекаешь? Ни к чему все это!

— Да, ни к чему. Наши судьбы разошлись!

— Катя, наверно, надо было быть умнее кому-то из нас, чтобы наш брак не развалился... Слово-то какое — «брак» — странное, звучит как «ущерб», сюда приходит другой, отрицательный смысл.

— Что это ты в философию подался? Надеюсь, у тебя сложилось? — он смолчал.

3

Однажды она почувствовала себя плохо, не могла понять, что с ней происходит: болит голова по вечерам, тело будто чужое, поламывает руки. Дарья заметила состояние дочери и снова проявила инициативу: послала к врачу. После всех анализов выяснилось нечто, что повергло в шок и мать, и дочь: Катя оказалась инфицирована СПИДом, этой страшной болезнью XX века. Как? Где? Еще немало вопросов задавала она себе и вдруг... пронзила мысль, вспомнила один вечер, познакомившись у друзей, провела ночь с одним молодым мужчиной из Москвы. Он был хорош собой, привлекал взглядом темных глаз, весь вечер уделял ей внимание, был ласков и внимателен. Он уехал, а она забыла о том, что у нее была случайная связь. «Это он. Да, это он, мерзавец, наградил таким подарком!» Разливался соловьем о своей богатой квартире, о фирме, которую возглавляет, обещал приехать за ней. Горькие воспоминания терзали душу. Врачи взяли на учет, письменно обязали, что не будет вступать в связь со здоровыми мужчинами. «Боже мой, а Юрка? Он давно со мной!» — подумала Катя и заплакала. Юрка узнал все о ней, но не отвернулся.

— Катя, милая, ты попала в неприятную историю, но я люблю тебя! — сказал он. — И я не оставлю тебя, — добавил он.

— Юрочка, ты настоящий друг, ты делаешь подвиг, жертвуешь собой...

— Я просто люблю тебя, глупенькая!

— Ты проверил свое здоровье?

— Пока все хорошо. Не беспокойся обо мне.

Они продолжали встречаться, часто «квасили» (самогонные точки выручали) неделю-другую, потом, придя в себя, с удивлением оглядывались: жизнь продолжается и без их участия. Встречались у Юрки, мать на работе целыми днями, так что условия для загула были подходящие. Как-то мать решила поехать в гости к сестре в Тулу, и Юрка не преминул воспользоваться этим случаем — пригласить Катю (он иногда звал ее так ласково) с ночевкой.

— Кать, я два дня буду один. Придешь ко мне?

— А мать?

— Уезжает в Тулу, у нее выходные дни.

— Наверно, приду.

— Не наверно, а приходи обязательно! Буду ждать! — приказал Юрка.

Юрка был единственный сын у матери, родила она без отца, которого выгнала из дома за пьянство и загулы. Вырастила сама сына, дорожила им, заботилась, мечтая об удачной женитьбе, о внуках. Но вот уже и тридцать минуло, а он не определился, будто девушек мало. «И красив, и умен, техникум закончил хорошо, хвалили, а вот в личной жизни неудачник...» — думала, печалась, мать. — Связался с алкашкой, тоже

распилился, работу потерял...»

Юрка устроил небольшой праздник, пригласил еще подругу Кати с ее другом, и вчетвером решили погулять хорошо, оторваться по полной. Музыка гремела во все тяжкие, правда, было время вечернее, не полночь, но соседи начали протестовать. Лена с Николаем веселились от всей души, тем более без взрослых — свобода! Нацеловались, натиснулись и, наконец, ушли, а Катя осталась, чтобы продолжить пир вдвоем. Юрка вынес пять бутылок водки и сказал:

— Справимся?

— Не знаю. Многовато вообще. Как выйдет...— усомнилась Катя, находясь под хмельком.

— Справимся! Где наша не пропадала! — победно воскликнул Юрка, наливая стакан водки себе, потом Кате. Пожелав здоровья друг другу, выпили, закусив солеными огурцами, ломтиками колбасы, разложенной на тарелке. Потом вспоминали юность, школу, одноклассников, Катя поплакала; после выпитого попадали в забытью. Было далеко за полночь, когда первым очнулся Юрка и хотел сказать ей, как сильно он ее любит и никогда не бросит: «Кать, а Кать, повернись ко мне...» — начал он, но подруга не шевелилась, тогда он резко повернул ее к себе и... застывшее от боли сердца и разочарования лицо, глаза, застывшие от удивления, были открыты и неподвижны. Юрка закричал, как раненый зверь, он понял, что невольно погубил ее.

Катю похоронили. Осталась ее частица — Оленька, девочка тихая, с серыми глазами, как у матери. Дмитрий, долго не раздумывая, взял дочку к себе, в дом родителей.

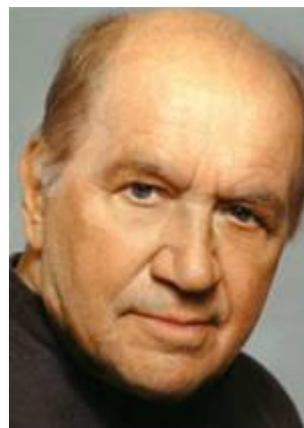
— Оленька, будешь жить с папой и с нами, мы тебя любим! — сказала Мария.

— Хорошо, бабушка, я тоже вас люблю.

— Вот и ладно. Будем жить семьей! — воскликнул дедушка Григорий.— У тебя, Оленька, впереди долгая жизнь! — добавил он.



Лев Дуров
(г. Москва)



СТРАННЫЕ МЫ ЛЮДИ

Народный артист СССР. Родился 23 декабря 1931 года в старом московском районе Лефортово. Происходит из знаменитой династии русских цирковых артистов — дрессировщиков и клоунов. В 1954 году кончил школу-студию МХАТ, в 1978 году Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. В 1954—1963 годах — актер Центрального детского театра, в 1963-1967 годах — артист театра имени Ленинского комсомола, с 1967 года — актер драматического театра на Малой Бронной. В 1996 году избран действительным членом Академии естественных наук.

Шекспировские клоуны, у которых так много юмора, мне симпатичны, но у них есть злые черты, из-за чего они отдаляются от Бога. Я ценю шутки, так как я Божий клоун. Но я считаю, что клоун идеален, только если он выражает любовь, иначе он не является для меня Божьим клоуном.

Вацлав Нижинский. «Дневник».

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН И ДР.

С Пушкиным я знаком давно и до сих пор общаюсь с ним постоянно. Он для меня Радость и Надежда, Утешение и Вера, Любовь и Вдохновение. Господи, да разве скажешь об этом лучше, чем Аполлон Григорьев: «Пушкин — это наше все!»

Я люблю открыть его томик на любой странице (ведь это так просто!), чтобы снова и снова, будто заново, перечитать давно знакомые строчки. Вот и на этот раз я наугад открыл книжку и не мог не улыбнуться, слушая рассказ Александра Сергеевича о своем лицейском товарище бароне Антоне Дельвиге: «Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. «Я женат»,— отвечал Рылеев. «Так что же,— сказал Дельвиг,— разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?»

Ну конечно же, это замечательные «Застольные беседы (Table-talk)»! В сноске издатели поясняли, что «пачка отдельных листков, объединенная в обложке под этим названием, заведена А. С. Пушкиным в 1830-е годы. Большую часть пачки составляют записки исторических анекдотов, а также критические заметки».

Я заново перечитал эти «Беседы» и невольно сравнил «исторические анекдоты» Пушкина с «историческими анекдотами» нашего времени. Александр Сергеевич даже в этом жанре нигде не позволил себе опуститься до вульгарных колкостей и недержанного злоязычия. Он и здесь остался верен своим святым принципам челове-

коллобия: пробуждать «чувства добрые», призывать «милость к падшим».

Отношение же к своим персонажам нынешних сочинителей «исторических анекдотов» напоминает мне старое русское пожелание: «Вот тебе помои, умойся; вот тебе онучики, утрися; вот тебе лопата, помолися; вот тебе кирпич, подавися!» Не только снисхождения к человеческим слабостям, но даже ни одного доброго слова в адрес исторических личностей в современных анекдотах вы не найдете, хоть перелопатите всю свою память — убогая галерея уродливых карикатур. Да ведь и то: «Сон разума порождает чудовищ».

Но это так, к слову — невольная ассоциация, которая сама напросилась. Я ведь — о пушкинских «Беседах», которые попались мне под руку. В них встречаются имена и довольно известных исторических личностей — Екатерины II, Потемкина, Суворова, Багратиона, Крылова и др., и имена уже полузабытых литераторов и государственных деятелей — Надеждина, Погодина, Милонова, Будри, Самойлова...

Не обошел своим вниманием Александр Сергеевич и моего далекого предка. Я не только не обошел, но даже посвятил ему не две строки и не двадцать, как остальным, а целых две страницы и снабдил этот «анекдот» заголовком, чего не удостоились другие истории. Не могу не привести его полностью по нескольким причинам.

Во-первых, очень сомневаюсь, что многие читали эти «Застольные беседы», и своим цитированием я заполню у них в какой-то мере этот пробел.

Во-вторых, упомянув короткий «анекдот» о Дельвиге, хочу привести и совершенно другой по своему характеру, чтобы читатель сам смог сравнить их и понять, что же Пушкин имел в виду, когда называл свои заметки «историческими анекдотами».

И наконец, в-третьих, хотелось бы напомнить читателям, что чирей ни с того ни с сего не вскочит: вон еще двести лет назад в моем роду были артистические натуры. Да еще какие, если на них обратил внимание сам Александр Сергеевич Пушкин!

Итак, слово нашему Гению:

О ДУРОВЕ

Дуров — брат той Дуровой, которая в 1807 году вошла в военную службу, заслужила Георгиевский крест и теперь издает свои записки. Брат в своем роде не уступает в странности сестре. Я познакомился с ним на Кавказе в 1829 г., возвращаясь из Арзрума. Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и играл с утра до ночи в карты. Наконец он проигрался, и я довез его до Москвы в своей коляске. Дуров помешан был на одном пункте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей. Всевозможные способы достать их были им придуманы и передуманы. Иногда ночью в дороге он будил меня вопросом: «Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! Как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?» Однажды сказал я ему, что на его месте, если уж сто тысяч были необходимы для моего спокойствия и благополучия, то я бы их украл. «Я об этом думал», — отвечал мне Дуров. «Ну что ж?» — «Мудрено, не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу: у меня есть совесть». — «Ну так украдите полковую казну». — «Я об этом думал». — «Что же?» — «Это можно бы сделать летом, когда полк в лагере, а фура с казною стоит у палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную веревку и припрячь издали лошадь, а там на ней и ускакать; часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, вероятно, напугается и не будет знать, что делать; в двух или трех верстах можно будет разбить фуру, а с казною бежать. Но тут много также неудобства. Не знаете ли вы иного способа?» — «Просите денег у государя». — «Я об этом думал». — «Что же?» — «Я даже и просил». — «Как! безо всякого права?» — «Я с того и начал: ваше Величество! я никакого права не имею просить у вас то, что составило бы счастье моей жизни; но, ваше Величество, на ми-

лость образца нет, и так далее». — «Что же вам отвечали?» — «Ничего». — «Это удивительно. Вы бы обратились к Ротшильду». — «Я об этом думал». — «Что ж, за чем дело стало?» — «Да видите ли: один способ выманить у Ротшильда сто тысяч было бы так странно и так забавно написать ему просьбу, чтоб ему было весело, потом рассказать анекдот, который стоил бы ста тысяч. Но сколько трудностей...» Словом, нельзя было придумать несообразности и нелепости, о которой бы Дуров уже не подумал. Последний прожект его был выманить деньги у англичан, подстрекнув их народное честолобие и в надежде на их любовь к странностям. Он хотел обратиться к ним с следующим speech: «Г.г. англичане! я бился об заклад об 10 000 рублей, что вы не откажете мне дать взаймы 100 000. Г.г. англичане! избавьте меня от проигрыша, на который навязался я в надежде на ваше всему миру известное великодушие». Дуров просил меня похлопотать об этом в Петербурге через английского посланника, а свой прожект высказал мне не иначе как взяв с меня честное слово не воспользоваться им. Он готов был всегда биться об заклад, и о чем бы то ни было. Говорили ли о женщине, — «Хотите со мной биться об заклад, — прерывал Дуров, — что через три дня я буду ее иметь?» Стреляли ли в цель из пистолета, — Дуров предлагал стать в 25 шагах и бился о 1 000 р., что вы в него не попадете. Страсть его к женщинам была также очень замечательна. Бывши городничим в Елабуге, влюбился он в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, когда она была уже привязана к столбу, а он по должности своей присутствовал при ее казни. Он шепнул палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее прелестей, белых и жирных, что и было исполнено; после чего Дуров жил несколько дней с прекрасной каторжницей. Недавно я получил от него письмо, он пишет мне: «История моя коротка: я женился, а денег все нет». Я отвечал ему: «Жалею, что изо 100 000 способов достать 100 000 рублей ни один еще, видно, вам на удался».

Да, у предка Дурова не хватило фантазии изыскать хотя бы один способ достать деньги. Зато сама его мысль о быстром и легком обогащении не осталась втуне и подвигла некоторых его земляков на творческие поиски. И они не могли не венчаться успехом.

После того как Пушкин увез в своей коляске незадачливого приятеля в Москву, в Елабуге объявился некий хлебосольный поручик. Он жил в одном доме, но на разных этажах с генералом — командиром полка, расквартированного в этом старом провинциальном городе. Поручик, не в пример своему генералу, не стеснял себя в удовольствиях: что ни день, то приемы, балы, попойки. День переходил в ночь, и только под утро гости с шумом и гамом разъезжались по домам.

В конце концов генерал заинтересовался, откуда у поручика такие огромные деньги — ведь на все эти приемы нужны немалые суммы. И вот как-то генерал встречает поручика у подъезда и говорит:

— Поручик, вот я генерал, а не имею возможности устраивать приемы, подобные вашим. У вас что — большое имение? Вы получаете с него большие доходы?

— Нет, ваше превосходительство, — отвечает поручик, — никакого имения у меня нет.

— Может, родители оставили вам богатое наследство, которое вы с такой легкостью решили прокутить?

— Увы, ваше превосходительство, никакого наследства у меня нет.

— Но каким же образом вы изыскиваете средства? — удивился генерал.

— Вы знаете, — ответил поручик, — я спорю, заключаю пари.

— Но ведь это смешно! — не поверил генерал. — Пари — это пятьдесят на пятьдесят! У вас с партнером равные шансы на выигрыш и проигрыш.

— Нет, ваше превосходительство, вы знаете, я все время выигрываю.

— Но такого не может быть! Это же риск! — горячился генерал и наконец решил

рискнуть.— Ну хорошо, поручик,— поспорьте со мной.

— К вашим услугам,— согласился поручик.— Но вы уж извините, я, может быть, буду где-то резок и даже в чем-то бестактен. Ничего?

— Пожалуйста,— согласился генерал.

— Хорошо,— сказал поручик.— Вот давайте поспорим на две тысячи рублей, что в среду у вас на одном месте вскочит чирей.

Генерал пожал плечами:

— Но ведь это чушь!

— Вот вы уже и проиграли.

— Но мы еще не заключали пари!

— Хорошо,— согласился поручик,— давайте заключим пари.— И они заключили пари на две тысячи рублей. В среду поручик явился к генералу.

— Как вы себя чувствуете, ваше превосходительство?

— Прекрасно! — воскликнул генерал, сел на стул и попрыгал на нем.— Видите? Никакого чирья!

— Простите,— улыбнулся поручик,— но я должен лично в этом убедиться. Не могли бы вы...

— С удовольствием! — генерал понял, что хотел поручик, снял штаны и показал поручику свою задницу.— Чиста, как у ребенка.

Поручик осмотрел одну ягодицу, перешел на другую сторону и смущенно попросил:

— Ваше превосходительство, не могли бы вы поближе подойти к окну — здесь ничего не видно.

Генерал в предвкушении выигрыша, забыв об осторожности, подошел к подоконнику и чуть ли не выставил свой зад наружу...

— Прошу.

Поручик опять все внимательно осмотрел и горестно вздохнул:

— Я проиграл, ваше превосходительство,— и со значением добавил: — Вам!

— А кому же еще? — усмехнулся генерал, натягивая штаны.

— Видите ли, ваше превосходительство, на такую же сумму я поспорил с каждым из офицеров нашего полка, что покажу им вашу задницу.

Генерал в ужасе бросился к окну и увидел, как от подъезда медленно расходятся офицеры его полка.

Вот такие «исторические анекдоты», скорее напоминающие характерные зарисовки и моего мечтательного предка, и оригинального поручика. И какое отношение имеют эти зарисовки к рассказу о Дельвиге, который приглашал Рылеева к девкам? Что общего между этими «анекдотами» и теми, в которых речь идет, скажем, о Суворове или Екатерине II? И я подумал: а зачем Пушкину нужно было вообще собирать эти такие разные истории под одной обложкой с общим названием? Что их может объединять?

Я не пушкинист и понятия не имею, что думают по этому поводу специалисты, но, по моему глубокому убеждению, Пушкин хотел создать мозаичную картину своей эпохи через характеры современников. Как художник из разноцветных кусочков смальты разной величины создает цельную художественную картину, так и Пушкин, думаю, из отдельных характеров хотел создать нравственный портрет своей эпохи.

Первую мозаичную картину подобного рода выложил почти две тысячи лет назад римский писатель Клавдий Элиан. Но его «Пестрые рассказы» были посвящены только людям значительным и довольно известным. Поэтому картина современного ему мира получилась несколько помпезной, парадной, такие было принято вывешивать в чопорных гостиных. Герои «Рассказов» — великие полководцы древности, многоумные философы, писатели — учили своим примером мужеству, благородству,

достоинству, гражданской добродетели.

К сожалению, не могу процитировать ни один из его «рассказов»: их у меня давным-давно красиво «увел» кто-то из ценителей древностей. Поэтому если я в чем-то ошибусь, пересказывая один из его рассказов, не упрекайте меня — главную его мысль я уж никак исказить не мог.

Итак, повествует Элиан, прогуливаясь однажды по Риму, Цезарь увидел лачугу своего старого легионера и решил зайти к нему в гости. Улицезрев великого полководца, хозяйка так растерялась, что, подавая на стол бобы, полила их вместо оливкового масла деревянным. Легионер чуть не поперхнулся, а Цезарь, не прекращая беседы, спокойно съел свои бобы и, прощаясь, горячо поблагодарил хозяйку за отличное блюдо.

Все! Никаких комментариев. Да и нужны ли они? Автор ведь писал не для умственно ущербных людей.

Со времен Элиана прошло чуть ли не двадцать столетий. И вот почти одновременно выходят в нашем отечестве две книги: Владимира Солоухина «Камешки на ладони» и Виктора Астафьева «Затеси», напоминающие по своему жанру и «Пестрые рассказы», и «Застольные беседы». Уж и не знаю, кто им дал творческий толчок к написанию таких книг — Элиан или Пушкин. Да это и не столь важно. В конце концов, они и сами могли дойти до этой мысли. Ведь у каждого писателя, как известно, за годы скапливается в столах столько литературного «мусора», что он становится уже обременительным. Выбросить? «Оно бы и очень можно, да никак нельзя», — как говаривал Владимир Даль.

И вот когда автор начинает перебирать все эти записки на обрывках бумаги, на ресторанных салфетках, на разорванных сигаретных пачках, то вдруг обнаруживает, что перед ним драгоценные кусочки смальты, которые не нуждаются ни в какой обработке, их нужно просто наклеить на некую основу, и мы увидим не приукрашенную гримом физиономию эпохи. Такой, какая она есть на самом деле. С прыщами, может быть, небритую и с сизым носом. А может, это будет образ красавицы с широко распахнутыми голубыми глазами, которые смотрят на мир с детским простодушием. Кто знает — это уж как камешки лягут. А может, зритель и сам расположит их по своему усмотрению, так, как и что ему захочется видеть.

И тут у меня родилась идея. Я никогда не вел дневники и не поверял бумаге свои мудрые мысли и глубокомысленные изречения. Я их забрасывал в темный чулан, который находится у меня под черепной коробкой, и по мере надобности, конечно, если мог найти, вытаскивал на свет божий. Потери я не замечал. Да и как можно заметить потерю того, о чем не помнишь! С годами эти потери я стал ощущать. Я почувствовал, что в той мозаичной картине мира, которую я себе представлял, не хватает каких-то кусочков смальты и образуются «белые пятна», которые не заполнить никаким воображением, как бы сильно оно ни было развито.

И вот тогда я подумал: каждый человек создает свою картину мира, которая не похожа ни на одну другую. Это может быть натюрморт с персиками, а может быть и «Гибель Помпеи». Но одна без другой существовать просто не могут — это нарушит ту гармонию, которая и держит все сущее в устойчивом равновесии. И я с присущей мне скромностью («Я негодяй, но вас предупреждали!») решил, пока не поздно, пока еще не растеряны все кусочки смальты, внести свою лепту в дело сохранения мирового равновесия и вывесить свою картину в галерее, в которой уже заняли свои места Элиан и Пушкин, Солоухин и Астафьев. Авось она поможет избежать мировых катастроф. А благодарности за это я у человечества не прошу — лишь бы всем было хорошо и все жили счастливо.

Вацлаву Нижинскому не нравились в шекспировских клоунах «злобные черты»,

которые отдаляют их от Бога. Сам себя великий танцовщик называл Божьим клоуном. В Англии меня называли трагическим клоуном. А это амплу по своему характеру может вызвать лишь сострадание, сопереживание, но никак не отвращение. Поэтому в своем портрете времени я постараюсь избегать те краски, которые могли бы придать ему «злобные черты».

«Нельзя объять необъятное», — говаривал незабвенный Козьма Прутков. Я всегда помню эту мудрую мысль. Но такова уж человеческая натура — все-то она берет под сомнение. Вот и аз грешный усомнился: а так ли уж она постоянна, эта человеческая натура? А что, если сравнить век нынешний и век минувший? Изменились ли люди? И если изменились, то в лучшую или худшую сторону? Давайте понаблюдаем вместе.

Ехал я как-то в поезде; и одна ситуация напомнила мне дореволюционный анекдот, когда-то читанный в старой-престарой книжице. Дело было тоже в поезде, и в купе сидели муж с женой и кучей ребятишек, которые разбаловались. Один пассажир, к которому двенадцатилетний отпрыск прыгнул на колени, не выдержал и обратился к родителям: урезоньте, мол, своего парня. А отец как-то интеллигентно ответил, что, мол, дети есть дети, к тому же сегодня воскресенье и почему бы им не побаловаться. На что пассажир сказал: «Чтобы ребенок веселился в воскресенье, по будням его надо пороть, что вы, наверное, не делаете». Это была, конечно, шутка.

А теперь представьте себе этот диалог в наше время. Если бы двенадцатилетний парень полез по коленям дяди к окну, и ему бы сделали замечание, что бы он услышал? «Да ладно! Сиди, козел! Что тебе, ребенок помешал?» — «Как вы со мной разговариваете?» — «А как мне с тобой, козлом, разговаривать? Пойдем-ка выйдем в тамбур, там поговорим!» — «Да пошел ты на!.. по!..» — «Чего-о?!» И уже, не стесняясь ни детей, ни пассажиров, пошло бы такое!..

Так что, думаю, нравы диктуют и тональность таких диалогов. Все становится страшнее, грубее и грубее. Страшно, на самом деле, как мы падаем...

Я вот смотрю на старинные фотографии и думаю: нет, все-таки лица другие. Не только лица аристократов, офицеров. Вот я увидел фотографию своего дядки времен империалистической войны. Боже мой, какое лицо, какая выправка, как он стоит, какое выражение глаз! Красивый офицерский мундир, красивое оружие — все просто замечательно! А вот солдаты идут на фронт — изумительные лица! Никакого сравнения с нынешними типажами.

Но это так, к слову. Я ведь об анекдотах. Я вначале как-то стеснялся и слушать их, и рассказывать. Потом понял, что зря. Вот у Юрия Никулина был кладезь анекдотов. По ним можно было проследить всю историю нашей страны, международные отношения, они давали емкие и точные характеристики историческим личностям, в них можно было найти тонкие и остроумные замечания о личности в себе и о личности в обществе. Ведь человек, в сущности, переживает не одну жизнь, а несколько.

Взять хотя бы мою профессию. Зритель видит лишь ту жизнь актера, которую он играет или на экране, или на сцене. Но ведь мы и сами показываем не свою жизнь, а жизнь своего героя. А потом мы уходим за кулисы, где уже совсем иная жизнь: отношения между актерами, сплетни, байки, воспоминания, приколы. И эта закулисная жизнь не менее интересна, чем сценическая. И наверняка у человека есть еще и третья, и четвертая жизни. И еще какая-то настолько тайная, что он до конца дней своих носит ее в себе, не посвящая в нее даже самых близких людей.

Господи, вот к чему могут привести размышления о, казалось бы, незначительном анекдоте, шутке. И я решил найти первоисточник. Не сразу, но — нашел!

Сто раз я уже успел забыть эту книгу: твердая обложка цвета египетской мумии с размытыми пятнами, будто кто-то плакал над ней. Пожелтевшие странички с жеманным текстом, пестрящим «ятями». Еще бы! Ведь ей, старушке, исполнился ровно век с тех пор, как она родилась в С.-Петербурге и попала на склад некоего кни-

гопродавца И. Иванова, обретающегося на Литейном. Тираж не указан, и потому я не могу с уверенностью утверждать, что являюсь обладателем единственного экземпляра этого уникального издания, уцелевшего после двух мировых войн. Может, ему и цены нет.

Называется книга «Современники», а вместо фамилии автора набрано: ИНКОГНИТО. В кратком предисловии этот Инкогнито сразу предупреждает: «Это — анекдоты!» И через несколько абзацев выдает мысль, за которую я сразу ухватился, ибо она легла во взрыхленную почву: «Говорят, что по анекдотам изучают характер века и нравы общества».

Мысль не первой свежести — ей полторы тысячи лет, если считать со времен Прокопия Кесарийского, к «Тайной истории» которого впервые применили в литературе термин анекдот, что с греческого переводится как неизданный. Сейчас, когда сборники анекдотов выходят десятками, это звучит, конечно, смешно. Но что делать! Идет время, слова ветшают, а то и вовсе меняют свое знаковое значение. Да и сам Инкогнито оговаривается: «Наши анекдоты — маленькие безпретензионные картинки, а иногда даже карикатуры. Они написаны штрихами и, как любят выражаться нынешние зоилы, «протокольным способом».

Но каким бы способом они ни были написаны, факт остается фактом: если по ним и не создашь «характер века», то уж о «нравах общества» можно судить смело, хотя автор и ограничивается узким кругом творческих людей: писателей, художников, композиторов, но главным образом — актеров, антрепренеров, режиссеров.

Открываю первую страницу:

Д. В. АВЕРКИЕВ

На одной из репетиций трагедии Д. В. Аверкиева участвовавший в ней актер Брянцев читал свои монологи в стихах простым разговорным языком. Автору, следившему за постановкой своего детища, это не понравилось, и он заметил:

— Так прежде не говорили.

В свою очередь Брянцеву не понравилось это замечание, и он, не задумываясь, ответил:

— Да ведь так прежде и не писали.

Такую дерзость по отношению к именитому писателю, издавшему шесть томов своих сочинений, не каждый актер мог себе позволить. Еще большую дерзость позволил себе некий редактор, упрекнувший великого русского писателя в безграмотности. Инкогнито рассказывает в главке «Граф Л. Н. Толстой»: «В Москве в дружеской беседе с молодыми беллетристами граф Лев Николаевич начал как-то упрекать их в нежелании работать...

— Ничего вы не делаете, ничего не пишете, нигде не видно ваших работ... Излезились совсем,— говорил он.

Беллетристы сначала отмалчивались, а затем один из них прямо сказал:

— И пишем, Лев Николаевич, и работаем, да нас нигде не печатают — не берут...

— Как не берут? — изумился граф.— Ведь вы, А., несомненно, талантливый человек, и вы, Б., и вы, В.

— Все мы талантливы по вашему мнению, Лев Николаевич,— отвечали ему,— а нынешние редакторы изданий этого не находят.

Граф не хотел верить возможности такого грустного явления в печати, как полное отсутствие критического анализа у редакторов, и решил проверить его сам...

Для этой цели он написал небольшой рассказ и послал его в редакцию какого-то журнальчика, подписавшись вымышленным псевдонимом...

Недели через две граф лично отправился узнать участь своего произведения...

Редактор принял его довольно сухо и с первых же слов сообщил, что рассказ на-

печатан не будет.

— Почему? — спросил Лев Николаевич.

— А потому,— отвечал редактор,— что все написанное вами свидетельствует о полнейшем отсутствии у вас не только малейшего беллетристического таланта, но даже простой грамотности... Признаюсь, любезнейший,— добавил он фамильярно,— когда я читал присланную вами ерунду, то был вполне уверен, что это написано совершенно «зеленым» юношей, а про вас это никаким образом сказать нельзя. Нет, уж вы лучше это бумагомарание бросьте — начинать в ваши лета поздно. Ведь вы раньше ничего не писали?

— Писал...

— Вот как! Что же вы писали? Признаться, писателя, носящего вашу фамилию, я не слышал.

Редактор совершенно бесцеремонно расхохотался прямо в лицо графу.

Тот отвечал ему спокойным тоном:

— Под присланным к вам рассказом я подписался псевдонимом. Вы, может быть, слышали мою настоящую фамилию: я Толстой. Написал несколько вещицек, о которых прежде отзывались с некоторым одобрением, например «Войну и мир», «Анну Каренину»...

Можете себе представить, что сделалось с редактором после такого ответа.

Ну, наши редакторы куда образованнее и гуманнее! Мне рассказывали о проходимце, который не поленился перепечатать на машинке роман Константина Седых «Даурия» и предложил его под другим названием, но под своей фамилией одному московскому издательству. Редактору роман понравился, и его заслали в набор. И уже в типографии один начитанный наборщик смутился: текст он узнал сразу, а вот почему у него другие и автор и название, понять никак не мог. Выяснили. Злые языки утверждали, что после этого редактора и наборщика поменяли местами. Не знаю.

Да, я забыл упомянуть, что у книги этого Инкогнито есть подзаголовок: «Анекдотические черты из жизни общественных деятелей настоящего», то есть столетней давности. И вот у меня родилась идея — сравнить «век нынешний и век минувший»: изменились ли за это время «нравы общества» и чем отличаются «характеры» смежных эпох? И отличаются ли вообще?

Но чтобы читатель не мог упрекнуть меня в пристрастии, я должен тоже предоставить ему возможность судить вместе со мной. А поскольку, как я уже говорил, книга Инкогнито у меня уникальная, я должен процитировать из нее хотя бы несколько особо характерных, на мой взгляд, «анекдотов».

Начну с семейственности — все-таки, как ни говори, а своя рубашка ближе к телу. В книге автор рассказывает несколько историй, связанных с моими прапрадедами — Анатолием и Владимиром Дуровыми. Постараюсь быть поскромнее и приведу лишь один «анекдот», касающийся взаимоотношений Анатолия Леонидовича и, как сейчас говорят, СМИ. Надо сказать, что мой предок, гастролируя со своими животными по разным городам России, часто вступал в конфликт с местными властями за свои слишком смелые шутки в их адрес. В Москве у него случилось «недоразумение» с одной из газет. Вот как рассказывает о нем Инкогнито:

«Началось оно с пустяков. Сын редактора, веселого нрава молодой человек, задумал однажды над ним посмеяться. В то время когда Дуров стоял у входа на арену, приготовляясь к своему номеру, он с насмешливой улыбкой подошел к нему, окруженный приятелями-пшютами, и спросил:

— Пользуетесь успехом, господин клоун?

— Как видите.

— А правда ли, скажите, пожалуйста, чтобы пользоваться на цирковой арене успехом, нужно иметь непременно глупую физиономию?

— Правда,— ответил Дуров без смущения. Компания захохотала. Победа юного остряка казалась очевидной, но каково было их поражение, когда Дуров после минутной паузы, доставив им удовольствие досыта насмеяться, прибавил:

— И если бы я обладал такой физиономией, как ваша, мой успех был бы еще обеспеченнее.

Компания замолкла и поспешила исчезнуть.

Однако это для Дурова не прошло даром. На следующий же день в газете его папеньки появилась рецензия, наполненная энергичными выражениями. Дурова разносили вовсю. Чего только не было сказано по его адресу! И бездарность-то он, и нахал, и грубиян... В продолжение двух месяцев шла эта систематическая травля, потешавшая, в конце концов, одного только владельца газеты, так как для публики был слишком заметен пристрастный тон этих репортерских заметок, развенчивающих его в ничто. Дуров долгое время терпел несправедливые нападки, но наконец не выдержал своего угнетения и показал зубы.

В один прекрасный вечер, когда «сам» редактор сидел в одной из ближайших к барьеру лож и с презрительной миной смотрел на его упражнения, Дуров выпустил на арену свою чушку и заставил незаметно для публики стать передними ногами на барьер как раз против старого редактора. Потом стал отзывать ее, но так, что она не трогалась с места:

— Чушка! Чушка! Назад! Иди сюда! — Она оставалась неподвижной.

— Иди же, говорю я тебе! Не хочешь? — То же самое.

— А, понимаю! Старых знакомых увидала! На своих насмотреться не можешь!

Публика поняла этот «воплъ огорченной души» и без умолка хохотала над его рискованной проделкой, которая повлекла за собою появление на другой день громовой статьи.

Травля усилилась. Для этой газеты Дуров сделался чуть ли не единственной злобой дня.

Дуров начал полемизировать с арены.

Так к своему бенефису он приготовил злую шутку над враждебной газетой. Он знал, что ее владелец непременно посетит его торжество, чтобы иметь возможность лишний раз поиздеваться над ним, и поэтому не в счет программы придумал он «свинью-читательницу». Разгуливавшей на арене чушке он вынес целую кипу разных газет. Она уселась в свое кресло, а Дуров стал подносить ей одну за другой газеты. Она с негодованием отворачивалась от них и презрительно хрюкала.

— Ишь ты,— заметил клоун,— она не всякую газету любит, а ищет свою... Ищи, ищи! Интересно посмотреть на вашу свинскую газету...

Сначала зрители думали, что свинья вообще не терпит гласности, но к ее глазам Дуров приблизил то издание, в котором не выносили хладнокровно его имени, она радостно захрюкала, завертела хвостом и, уткнувшись носом в газету, с визгом заводила им по строкам.

Клоун отомстил. Это был последний залп полемической перестрелки. Газета стала его замалчивать, а он о ней никогда не вспомнил».

Не правда ли, что и мы можем вспомнить немало «свинских» газет и журналов нашего времени? А впрочем, что это я лезу со своими комментариями! Мой принцип — сама беспристрастность! А посему надергаю еще несколько «анекдотов» из книги таинственного Инкогнито и прощусь с дорогим читателем до встречи с веком нынешним, за которым, увы, уже опустился занавес. Там вместе и посмотрим, что мы приобрели, а что потеряли. Ведь не в духовной же спячке мы находились целый век! Итак, с Богом!

М. Г. ЯРОН

Актер Н. С. Стружкин, автор многих популярных стихотворений, был очень вы-

сокого мнения о своем сценическом даровании.

Сошлась как-то компания. Зашла речь о псевдонимах. Стружкин заявил, что он потому избрал себе этот псевдоним, чтобы напомнить Щепкина:

— Я, конечно, не Щепкин, я несколько меньше его, но довольно близок к нему и потому избрал ближайшее к «щепке» подходящее слово «стружка», и отсюда мой псевдоним.

П. М. Медведев на это заметил:

— Если вы имели в виду Щепкина, то максимум, на что вы имели право,— это на Опилкина, но никак не на Стружкина.

А находившийся тут же Марк Григорьевич Ярон, остряк и экспромтист, продекламировал четверостишие:

*Вы сценой сильно увлекались,
Но все ж таланты измельчали:
Где прежде Щепкины блистали,
Там только Стружкины остались.*

В. М. ДАЛЬСКИЙ

Во время управления В. А. Крылова драматической сценой Виктор Мамонтович Дальский укорял за кулисами Александринского театра одного из товарищей Н. Н.:

— Совершенно напрасно кичишься ты либерализмом. Ты трус и фразер.

— Ты меня мало знаешь! Наоборот, я очень смел и «грызусь» со всеми.

— Вздор! Какой же ты либерал, ежели для бенефиса все-таки пьесу Крылова берешь?!

Вас. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

В бытность свою за границу Немирович-Данченко случайно наткнулся «на собственное противоречие».

— Что это за цветок? — спросил он, поднося к носу цветок.

— Анемон...

— Гм... совсем не пахнет!

— Анемон никогда не пахнет.

— Странно, а у меня в одном стихотворении сказано: «и анемон, благоухая...»

О. В. НЕКРАСОВА-КОЛЧИНСКАЯ

В сезон 1897—1898 гг. на сцене Малого театра пользовалась выдающимся успехом пьеса М. Н. Бухарина «Измаил». Изобилующая внешними эффектами, она производила впечатление и делала отличные сборы.

Интриганку Софию Девет играла Ольга Васильевна Некрасова-Колчинская. В ее роли попадает фраза: «По приказанию Суворова!» Речь идет о фельдмаршале Суворове. Но в день первого представления, дойдя до этой фразы, она с пафосом произносит:

— По приказанию Суворина!

Добродушный хохот всего театра был ответом оговорившейся артистке. Это было тем более смешно, что все зрители отлично знали, какое значение имеет за кулисами Малого театра почтенный издатель «Нового времени» А. С. Суворин.

Вот, пожалуй, и достаточно для того, чтобы иметь возможность сравнить век нынешний с веком минувшим. Правда, в моих «анекдотах» круг действующих лиц более широк, так как на определенном этапе развития нашего общества искусство, как

известно, стало принадлежать народу. И мы, люди искусства, слились с народом в едином порыве... Это историческое обстоятельство дало мне перед Инкогнито немалую фору. За что я и остаюсь благодарен этому самому обстоятельству.

Моя книга, в сущности, представляет собой все же мозаичный портрет времени. Каждый волен добавить к этому портрету свои камешки, и тогда он, портрет, изменится до неузнаваемости, так, что даже автор не узнает родное дитя. Но я человек не гордый — пожалуйста, бросайте свои камешки или на картину, или в автора, как вам удобнее. Я не обижусь. Честное слово. В доказательство своей искренности предлагаю даже подсказку, которая может подвигнуть любителей на сотворчество: «На море на киане, на острове на Буяне стоит бык печеный: в заду чеснок толченый, с одного боку-то режь, а с другого макай да ешь!»

Просто? Тогда Бог вам в помощь.

ЛИЦА ДРУЗЕЙ

Замечательный русский писатель Виктор Астафьев как-то сказал: «Чтобы изобразить героя, нужно изобразить его время». Перефразируя эту справедливую мысль, можно сказать и так: «Чтобы изобразить время, нужно показать современника, живущего в нем», потому что он не только продукт своего времени, но и творец его.

Я не стал долго ломать голову над тем, кого же из современников мне следует показать. Конечно же, тех из них, которых знал и знаю не только я, но и миллионы читателей и зрителей страны, для которых они стали близкими друзьями. Это не творческие портреты и уж тем более не биографии — всего лишь характерные штрихи к образам наших с вами современников. Одних я писал анфас, других в профиль, давая возможность читателю самому дорисовать портрет. Как сказал когда-то веселый эпиграммист о поэте Николае Доризо: «Потомки дорисуют, видно, Недорисованный портрет».

Оставим же и мы часть работы на долю потомков.

Юрий Никулин

Это произошло накануне очередных майских праздников. Мне позвонили из Президиума Верховного Совета и сказали, что меня наградили орденом Трудового Красного Знамени. А когда мне что-то преподносят, я тонко, как большой интеллигент, шучу. И я говорю:

— Наконец-то вы созрели в Верховном Совете! А я-то уж давно был готов к этому! Во всех пиджаках дырок наковырял! А вы все там никак не мычите не телитесь.

Так тонко, интеллигентно шучу.

На другом конце провода похихикали над моей шуткой и говорят:

— В среду к десяти утра просим прибыть. И, будьте добры, без опозданий.

Я, конечно, как дурак, с утра шею вымыл, галстук нацепил и к десяти утра подъезжаю к этому мраморному зданию. Там часовые.

— Здравьете, Дуров, вы чего?

Стало быть, узнали.

— Здравьете,— говорю.— Мне тут позвонили...— и объясняю, что к чему.

А они говорят:

— Сегодня не наградной день.

— Как не наградной? Мне сказали, к десяти утра! — Тут они тоже занервничали, как и я.

— Сейчас,— говорят,— мы позвоним, куда надо, и все выясним.

Они ушли куда-то, приходят и говорят:

— Мы позвонили в секретариат. Вы знаете, ни в одном наградном листе вашей фамилии нет.

Я спускаюсь по ступенькам, выхожу на улицу, гляжу — машина. А облокотясь на нее, стоит довольный Юра Никулин и говорит:

— Приехал все-таки, дурачок!

И я, невзирая на флаг на здании, на мрамор, сказал все, что о нем думаю. Все слова-то лефортовские еще не забыл.

— Кто звонил? — спрашиваю.

— Я, — говорит. — Кто же еще?

— Не стыдно?

— А тебе? — спрашивает. — Поверил, как маленький. Ну здравствуй, мальчик.

И мы обнялись.

Ладно, думаю, больше я на такой крючок не попадусь. Проходит несколько дней, и меня приглашают в дирекцию театра. Там мне вручают шикарный конверт — весь в штемпелях и печатях. Вскрываю и вижу отпечатанное на машинке письмо на английском языке. Нашел переводчика, и тот мне перевел, что фирма «Парамаунт» приглашает меня в фильм «Пятеро». И что из советских артистов предлагают сниматься еще господину Никулину. С американской стороны участвуют Пол Ньюмен и еще какой-то популярный артист. Я сразу все понял и позвонил Никулину.

— Владимирыч, — сказал ему, — больше ты меня не купишь. Кончай свои розыгрыши.

— Ты о чем? — спрашивает.

— О письме из Голливуда.

— Значит, ты тоже получил? — радуется Никулин. — И мне прислали. Не веришь? Сейчас я к тебе Макса с этим письмом пришлю.

Приезжает его сынишка и передает мне точно такой же конверт, в котором лежит письмо с переводом. В нем сказано, что господину Никулину предлагают роль в фильме «Пятеро» и что из советских артистов предлагают еще роль господину Дурову и т.д. Звоню Никулину.

— Юра, — говорю, — извини. А я думал, ты разыгрываешь. Ну что ж, поедем, научим их, как надо работать.

Проходит неделя, никто не интересуется моими связями с США, и министерство культуры молчит. Звоню Никулину.

— Владимирыч, — говорю, — ты чего-нибудь получал еще оттуда?

— Нет.

— Тогда, — говорю, — ну их к черту! А то дома уже все волнуются, когда дед поедет, чего-нибудь привезет.

— Не поедем, — соглашается Никулин.

— Не поедем — пусть прозябают.

Никулин помолчал немного и спрашивает:

— У тебя конверт далеко?

— Вот он, — говорю, — на столе.

— Возьми его в руки.

Я взял.

— Там есть большая треугольная печать? — спрашивает.

— Есть.

— Прочти, что на ней написано.

— Там же по-английски.

— Но буквы-то ты знаешь, вот и читай.

Я читаю. А там написано: «Счастливого пути, дурачок»

А познакомился я с Юрием Владимировичем, когда он был еще подставным в цирке. Подставной — это свой человек. Когда артисты с арены приглашают кого-нибудь из публики, подставной тут как тут, и вот тут с ним начинают валять дурака.

Это было давным-давно — на общественном просмотре цирковой программы. Ну, общественный просмотр — это когда собирается вся театральная общественность: и актеры, и режиссеры, и художники. Тогда Никулина широкая публика, в общем-то, еще не знала, и известным он не был. Знали его только цирковые.

Народу — полный цирк! Обычно на такие представления приходит вся Москва. Все обожают цирк: и простые люди — дворники, водители, и интеллигенция — профессора, академики, то есть кто угодно, потому что это особое искусство — искусство мужественных и отважных, искусство смешных и смешаших.

И вот идет номер за номером. На манеж на роскошных лошадях выехали туркменские наездники в белоснежных папахах. Они грандиозно отработали свой номер, и их долго не отпускали: в конце номера были бурные аплодисменты. Неожиданно один из всадников, точно не помню, наверное, это был их руководитель, обратился к публике:

— Кто хочет стать артистом? Кто хочет стать наездником?

Есть такой прием в цирке. И вот он стал спрашивать желающих, но никто не решился стать наездником. В конце концов, он вдруг обратил внимание на какого-то парня и сказал:

— Ну вот — ты! Иди, иди сюда!

И стал вытаскивать на манеж очень странного мужчину. Вид у него был чудовищный: засаленный бушлат, как у человека со старой баржи, какие-то странные мятые брюки с потертыми коленями, кирзовые сапоги, из-под бушлата выглядывала застиранная ковбойка и кончик рваной тельняшки, а на голове была помятая мичманка со сломанным козырьком. Этот портрет во всех деталях я помню до сих пор. Как будто он сейчас стоит передо мной. Но дело даже не в этом. Дело было в лице этого человека, в его глазах! Никто даже и подумать не мог, что это подсадной.

А рядом с ним сидела его жена. Как потом я узнал, это действительно была жена Никулина — Татьяна. Она была одета так, как одевались все тетки в ту пору: заматанная платком и с огромной авоськой с апельсинами и колбасой. Она дергала супруга за рукав и ругалась:

— Куда поперся? Какой артист? Сиди на месте!

А он шевелил губами, и все понимали, что мужик матерится.

— Ладно, перестаньте! — успокаивал их руководитель. — Не надо ссориться, все будет хорошо.

И вот, озираясь по сторонам, мужик медленно выходит на арену.

— Давай ногу, я подсажу тебя на лошадь! — командовал руководитель.

Парень сгибал ногу, и тут начиналась полная глупость, просто идиотизм! Руководитель, подсаживая, перебрасывал его через лошадь, и этот парень падал лицом в опилки, вставал и долго-долго вытряхивал эти опилки изо рта и ушей. Но самое изумительное было в том, как он смотрел на публику: это был взгляд человека, который впервые попал на манеж и вдруг увидел цирк с обратной стороны — не как зритель, а как актер. Он смотрел на зрителей с каким-то мистическим ужасом. И вот тут началось нечто: от этого невероятного лица, от камуфляжа, в который он был одет, в зале начала потихонечку назревать жуткая истерика. Я такого никогда больше в своей жизни не испытывал! Выглядело это как полная глупость: опять к нему обращался руководитель: «Давай я тебя подсажу», тот, конечно, опять перелетал через лошадь, опять падал лицом в опилки, потом вставал, долго что-то вытаскивал изо рта, долго рассматривал внимательно-внимательно, затем начинал задумчиво жевать, глядя куда-то вверх, под купол. А Татьяна, изображающая его жену (и на самом деле жена),

кричала:

— Жуй, жуй! Это из лошади!

А он отмахивался и дожевывал. Потом его опять подсадили, причем задом наперед. Ездить он, конечно, не умел, поэтому начинал искать опору и, в конце концов, находил ее в виде конского хвоста: он прижимал этот хвост к груди и в таком положении скакал по манежу. Только представьте себе картину: вот эту розовую часть лошади и лицо Никулина!

В цирке творилось что-то невероятное — ну просто стон стоял! Потом с его ноги падал кирзовый сапог и развивалась длинная-длинная портянка невероятного цвета. В конце концов, его выдергивали лонжей из седла, и он летал над цирком — сначала проносился над публикой, потом кружил над манежем. Потом его снова роняли, он падал лицом в опилки и уже не соображал, что с ним происходит. И тут на арену выбегала Татьяна, била его этой авоськой с колбасой и апельсинами, и они вместе убегали.

Все это казалось глупостью, я сам отлично понимаю, что, если бы это делал я или кто другой — ничего бы не произошло. Но это был Никулин! Это было его обаяние, его невероятный талант! Я не знаю, случалось ли когда-нибудь что-нибудь подобное со зрителями где-нибудь в мире. Думаю, что нет.

Напротив меня в ложе сидел Михаил Иванович Жаров. Никогда не думал, что он такой смешливый. Он так странно себя вел, крича: «А-а-а! А-а! А-а!» — и показывая публике пальцем на Никулина, как будто никто больше его не видит. Жаров вываливался из ложи, его туда опять втаскивали, он опять вываливался, хрипел, его снова втаскивали.

У меня часто случается такая ситуация. Рассказываешь в гримбуорной о ком-нибудь, и в этот момент входит тот, о ком я рассказывал. В таком случае я обязательно говорю:

— Ну что вы! Он такой идиот!

И мгновенно наступает тишина. Вот и в цирке такое случилось с Жаровым. Вдруг между приступами хохота наступила секундная пауза, и Жаров на весь цирк заорал:

— Ой, я описался!

Думаю, он не соврал, потому что в антракте он не вышел. А все ходили мимо ложи и говорили:

— Михаил Иванович!..

В ответ он делал такое «жаровское» лицо, словно говоря: «Да вы что! Да перестаньте! Как вам не стыдно! В чем дело!»

После этого номера все остальное представление рухнуло. Артисты, вышедшие работать во втором отделении, хохотали. Жонглер подкинул буквально три булавы, они попадали ему на голову, он сказал: «Не могу!» — и ушел с манежа. Все второе отделение разрушилось. Потом мне говорили, что никулинский номер переставили в конец представления, потому что после него работать было просто бессмысленно.

Когда выходили из цирка, я оказался рядом с Марией Владимировной Мироновой и Александром Семеновичем Менакером. И Миронова все говорила:

— Саша, Саша, не смотри на меня! Не смотри!

Потому что стоило только встретиться с кем-то глазами, как начинался дикий хохот. У меня почти месяц от хохота болела диафрагма — я, наверное, выхохотал весь ресурс за год или за два вперед.

Спустя много времени мы с Андреем Мироновым играли в спектакле «Продолжение Дон Жуана». И вот опустился занавес, и Андрей мне говорит:

— Сегодня день моего рождения. Поехали ко мне.

Приехали. И мы с Марией Владимировной вспомнили о том цирковом представ-

лении.

— А-а! — закричала она и выскочила из комнаты. Потом вернулась и сказала:

— Левочка, разве можно такое напоминать? У меня даже живот судорога свела...

А потом мы с Юрием Владимировичем вместе снимались. В первый раз это было в картине «Старики-разбойники», где я играл маленькую роль водителя инкассаторской машины. С этим фильмом связана такая интересная история.

Одна из сцен снималась в таксомоторном парке. Только мы въехали в ворота, как к нам подошла группа ребят — они уже ждали нас. Говорят:

— Юрий Владимирович, здравствуйте! Дайте, пожалуйста, ключи от машины. Мы ее сами отгоним и поставим.

А у Юры была тогда «Волга». Они забирают ключи, садятся в машину и уезжают. После съемки, которая длилась фактически целый день, мы стали собираться уезжать из парка. Тут подходят эти ребята и говорят:

— Юрий Владимирович, возьмите ключи, пожалуйста. Вон ваша машина.

Мы сели, и Юра стал ее заводить.

— Стоп-стоп-стоп! — закричал вдруг. — Что-то не так! — А ребята все стоят и улыбаются. Юра вышел и спросил:

— Ребят, вы что-то делали?

Они отвечают:

— Да нет, ничего, Юрий Владимирович.

Когда мы выехали с территории парка, Юра остановился, открыл капот и сказал:

— Лева, а они мне половину деталей на новые поменяли... — Вот такая к нему была необыкновенная любовь. Каждый считал своим долгом сделать что-то такое приятное и полезное этому замечательному человеку.

Повторяю, я был дружен с ним в течение многих, многих лет. И встречались мы с ним постоянно, так как служебный вход театра на Малой Бронной находился напротив подъезда того дома, где жил Юрий Владимирович с женой Татьяной и сыном Максимом. И могу засвидетельствовать: его мудрая доброта была неизменной. Казалось, что, общаясь с ним, сам становишься и остроумнее, и добрее. Находясь рядом с ним, нельзя было быть ни хамом, ни грубым, ни колючим... Просто нельзя — и все.

Виктор Астафьев

В Москве с Виктором Петровичем я встречался не так уж и часто — он редко наезжал в столицу. А при встречах мы в основном обменивались лишь приветствиями: «Здравствуй». — «Здравствуй». Я относился к нему, да и отношусь, естественно, с огромным почтением, потому что считаю его российским классиком. На меня большое впечатление произвели и его рассказы, и роман «Царь-рыба».

И вот я с театром приехал на гастроли в Красноярск. Я знал, что он живет неподалеку в деревне Овсянка, и что у него есть пьеса о войне. Было бы грешно не воспользоваться случаем и не заехать к нему в гости.

Я сел на рейсовый автобус и поехал в эту Овсянку. Автобус был набит битком. Рядом со мной сидел молоденький паренек с юношескими прыщиками на лице, с голубыми глазами, белобрысый. Он все время поглядывал на меня и ерзал. Потом не выдержал и сказал с досадой:

— Ну что за люди! Что они, кино, что ли, не смотрят? Телевизор?..

— А в чем дело? — спрашиваю.

— Да вот едет к нам такой человек, и никто не подходит, ни о чем не спрашивает...

— Ну, ладно, ладно... Тебя как зовут?

— Толик.

— Так это хорошо, Толик, что никто не подходит, не мешает нам с тобой разго-

варивать. Да мы можем и просто помолчать, природой любоваться.

— Не-не! — говорит. — Ведь это нехорошо, что не узнают.

И не успел он сказать еще что-то, как подходит женщина, протягивает книжку и говорит:

— Поставьте, пожалуйста, свою подпись.

— Да ради бога, только зачем?

— Мы вас очень любим.

Я написал какие-то теплые слова, подписался. И тут Толик повеселел.

— Ну вот видите — узнали!

И тут начали ко мне протискиваться один за другим другие пассажиры с просьбой поставить автограф — кому на книжке, кому просто на бумажке, а кому и на паспорте. Но портить официальный документ я отказался.

— Видишь, — говорю, — Толик, и не дали нам с тобой поговорить — отвлекают.

— А вы куда едете? — спрашивает. — В Овсянку?

— Да, — говорю, совершенно не удивляясь его прозорливости: к кому же еще по этому маршруту может ехать артист!

— А знаете, где он живет?

— Нет.

— А я вам покажу.

Мы вышли вместе. Толик проводил меня до угла улицы и показал, как найти дом Петровича. Дошел я до того дома и оглянулся: Толик стоял на автобусной остановке — значит, он вышел раньше, чтобы только проводить меня. Вот такой гостеприимный, внимательный Толик.

Я подошел к открытой калитке и вошел во двор. И вдруг услышал из окна женский голос:

— Витя, Витя, смотри, кто к нам приехал! Левочка к нам приехал! А ты все обижался, что он не едет и не едет.

И тут из дома в пижаме выбегает Виктор Петрович.

— Здорово! Что же ты так долго? А я смотрю на афише — Дуров приехал, и почему-то не заходит. Давай, заходи!

Зашли в дом. Он представил мне свою жену Марью Карякину — тоже литератора, и кряжистого человека с большим плоским лицом и раскосыми глазами, который сидел тут же на табуретке:

— А это наш местный поэт, бывший «панцирник».

«Панцирник» как-то неловко поднялся и откланялся.

— Пожалуй, я пойду. Встретимся на каком-нибудь спектакле. — Он взял в руки две палки и пошел какой-то странной крабьей походкой. Марья тоже оставила нас, сославшись на домашние дела. Виктор Петрович проводил взглядом странного гостя и невесело усмехнулся.

— Вот видишь, мало того, что остался живой — еще и стихи пишет.

А я вспомнил одну встречу на Комсомольском проспекте. Это было 9 мая — День Победы. Я сел в троллейбус и вижу, сидит полковник, а на его груди огромный иконостас — весь в орденах. Я поздравил его с праздником, сказал несколько добрых слов. Вот, говорю, вы заплатили своей кровью за то, чтобы существовала наша страна и люди на ней. Он немного растерялся и посадил меня рядом.

— Спасибо, спасибо, — сказал. — Теперь редко, кто поздравляет, — и спросил: — А вы знаете, в каких я войсках служил? Я служил в «панцирных» войсках.

И рассказал мне, что это такое. Это были особые войска, которые состояли из политзаключенных, из тех, на которых «висела» 58-я статья — антисоветская пропаганда, шпионаж и т.д. и т.п. Им выдавали особые кольчуги, в которых воевали еще наши древние дружинники и на Чудском озере, и на Куликовом поле. «Панцирники»

надевали эти кольчуги поверх гимнастерок, на них — телогрейки и шли в бой. Но эти кольчуги не очень-то и помогали. Редко кто выходил из боя живым — ведь «панцирников» выпускали даже перед штрафниками. Считалось, что если тебя ранило, то ты искупил свою вину кровью, и судимость снималась. И наши умельцы придумали другой способ сохранения жизни. Немецкие каски не кололись — они были двуслойными: на железный лист клали еще и стальной. А наши каски кололись очень легко. И вот их кололи кувалдой, а осколками наспигивывали вспоротую телогрейку. Эта телогрейка надевалась на кольчугу. От прямого попадания это не спасало, но от нее хорошо рикошетило. Так был создан прототип бронезилета. «Панцирники» опускали каску на глаза и с автоматом в руках шли в атаку.

Так я встретил на своем жизненном пути еще одного «панцирника», ныне поэта. В него попали из противотанкового ружья, и он четыре с половиной года провисел на ремнях, потому что его нельзя было класть ни на что жесткое. В конце концов его кое-как собрали, и теперь вот он и ходил такой крабьей походкой...

Мы переговорили с Петровичем о том о сем, перебрали последние новости, и он пригласил меня прогуляться по Овсянке, пока хозяйка готовит стол.

И я увидел те самые огороды, о которых он не раз писал в своих рассказах и воспел в «Оде русскому огороду»; посмотрел на дом, который Петрович поставил на свой первый гонорар старухе-погорелице; заглянул в тот самый подвал, куда отец сажал Витьку, заболевшего малярией, чтобы снять с него хворь. Бабушка, жалея внука, подсовывала туда ему шанежки. И когда Виктор отлежался после тяжелой болезни, он из последних сил поднял крышку погреба и вылез на свет божий.

— Ну жив, — сказал отец, увидев сына. — А раз вылез, живи дальше.

Потом Петрович рассказал о какой-то страшной траве, которая наступает на посевы, о траве, которой в Сибири никогда не было: бурьян со страшными колочками, которого боится даже клевер. И я в самом деле увидел в бурьяне низенький-низенький клевер. Еще показал он мне умирающую от кислотных испарений заводов березовую рощу. С большой грустью говорил, как вырубаются лесные массивы, как река Енисей перестала быть рыбной рекой...

Печальный получился рассказ. И чтобы развеять писателя, я пригласил его с супругой на спектакль «Женитьба». И они пришли и были в восторге. А после спектакля я пригласил их и несколько актеров из труппы в свой гостиничный номер, где уже был накрыт стол, который венчал великолепный малосольный хариус.

— Вот, ребята, — оглядев нас, улыбнулся Петрович, — смотрю я на вас и вспоминаю свое детство, когда звуковое кино только начиналось. О жизни артистов мы в ту пору ничего и знать не знали — кто на ком женат и сколько получает — даже не пытались: артисты для нас были людьми неземными, дрались и умирали взаправду. И много споров, а то и потасовок требовалось нам, игарским детдомовцам, чтобы выяснить, как убитый командир, хоть бы его и сам Крючков играл, возник снова целый и невредимый?! Словом, были мы простофили-зрители. Мы и титры-то не имели привычки читать: артистов кино помнили чаще не пофамильно, а в лицо. И с гордостью за свою глазастость и памятьливость, сидя в темном, часто холодном кинозале, тыкали друг дружку в бока: «Помнишь бандюгу в «Золотом озере»? Он! А этот в «Тринадцати» и в «Морском посту»! — «Точно! Он всегда командиров играет...»

И никто не одергивал, как нынче: «Эй, теоретик, заткнись!»

Наоборот, прислушивались к памятливому парнишке и даже переспрашивали: «Это который? С дыркой, что ли, на подбородке? Сильный артист!..» А стоило, допустим, появиться на экране Андрею Файту, фамилия которого запомнилась оттого, что судной шибко казалась, как возникал и катился по залу ненавистный шепот: «У-у, вражина! У-у-у, га-ад!» Мои старые друзья по сей день не верят, что именно этот актер сыграл недавно в телефильме «Гончарный круг» премилого, добрейшего

мастерового старика,— он, мол, гадов только может изображать...

— И когда же вы освободились от этой «наивности»? — спросил кто-то из актеров.

— Не знаю... Пожалуй, не освободился и до сих пор. На то оно и искусство — в этом его тайна,— Петрович помолчал немного и продолжал: — На фронте, уже взрослый и тертый вояка, сидел я как-то в тесно забитой бойцами украинской клуне прямо на земляном молотильном току и смотрел кинокартину о войне. Смотрел и вдруг дрогнул сердцем, даже вскинулся: узнал в лицо знакомую с детства артистку. Ровно бы родного кого встретил и хотел тут же поделиться радостью с товарищами, но не до того стало, исчезло вдруг ощущение условного действия. И хотя постукивал за клуней электродвижок, жужжал и потрескивал киноаппарат, все воспринималось въяве.

Может, причиной тому были звезды, видные в разодранном соломенном верху кровли, перестук пулеметных очередей на передовой, запах земли и гари — не знаю, но ощущение доподлинности охватило всех бойцов. Когда дело дошло до того места в картине, где мать убитого дитя, тайком от фашистов закопавшая его во дворе, при-таптывала землю, чтоб «незаметно было», она глядела на нас широко раскрытыми глазами, в которых горе выжгло не только слезы, но даже самую боль. И сделались они, эти глаза, как у младенца, прозрачны и голубы, хотя кино было и нецветное. Почудились они нам звездами, они даже лучились, указывая в самое сердце. Она уже ничего не видела и не слышала. Она топталась и топталась по своему дитю и с недоумением и мольбой глядела куда-то далеко-далеко — должно быть, в вечность. Белая рубаха до пят, припачканная землей и детской кровью, похожая на саван, распущенные шелковистые волосы и босые материнские ноги будто исполняли танец вечной муки и возносили ее в такую высь и даль, где обитают только святые. И в то же время блазились — живыми ногами наступает она на живое, дитю больно и страшно в темной земле...

Хотелось остановить ее, да не было сил крикнуть, шевельнуться — оторопь брала, костенела душа, стыла кровь.

— Господи! Господи!..— зашелся кто-то сзади меня.— Что деется? Что деется?!

Я очнулся: в клуне глухой кашель, хрип — солдаты плакали «про себя», давили боль в груди, и каждый думал, что плачет только он один — такой жалостливый уродился — и если ударится в голос — спугнет женщину, которая не в себе, и тогда она очнется и упадет замертво...

Виктор Петрович замолчал, молчали и мы, потрясенные его рассказом. Потом он, не поднимая головы, будто про себя, продолжил глухим голосом:

— Целую вечность спустя я встретился с этой актрисой и спросил, как ей удалось так доподлинно сыграть ту роль. «А я и не играла»,— сказала она и рассказала мне историю, связанную с этим фильмом.

Тогда столичную киностудию эвакуировали в Алма-Ату. Актриса оставила в Москве мужа и восемнадцатилетнего сына. Сын сразу же после ее отъезда ушел в ополчение. И вот в разгар работы над фильмом ее вызывают телеграммой в Москву на похороны погибшего сына. Ей выписали пропуск, проводили на поезд, а через десять дней встретили. Она удивилась, что на вокзал приехал сам постановщик фильма, прославленный режиссер, занятой человек. Но тут же забыла об этом. Привезли ее почему-то не домой, а сразу на киностудию. И как была она — в старой шалюшке, в древней стеганке, в подшитых валенках,— завели в павильон, где их уже ждала съемочная группа. «Но я не могу сейчас работать! — взмолилась актриса.— Это бесчеловечно!» Она плакала, рыдала, а режиссер только молча гладил ее по этой серенькой шалюшке. И когда она выплакалась, сказал единственное распространенное тогда слово: «Надо».

Он дал актрисе ножик, поставил мешок с мелконькой грязной картошкой и стал

расспрашивать ее про Москву. А потом начались съемки, актриса продолжала чистить картошку и так увлеклась, что актера, игравшего немца, а он был доподлинный немец, предупредили: «Будьте осторожны. У нее в руках нож...»

Она работала всю ночь, а когда съемки закончились, режиссер встал перед ней на колени и поцеловал ее руки, испачканные землей: «Прости». — «Бог с тобой, — сказала она. — Получилось ли хоть что? Мне ведь не пересняться. Я умру...»

— Не знаю, друзья мои, — закончил Петрович эту историю, — ответил ли я на ваш вопрос о «наивности». А вообще я считаю, что счастлив тот, кто до конца дней своих сумел сохранить эту «наивность». Это великий дар. Не теряйте его.

— Виктор Петрович, — спросил кто-то, — вы ведь поздно начали печататься? Ну понятно, война...

— Если бы не война, — кивнул Петрович, — я начал бы писать лет на десять-двенадцать раньше. Я испытывал тягу к сочинительству с детства. Разумеется, тогда получился бы другой писатель: лучше или хуже — угадать уже никому не дано. Однако, вне всякого сомнения, тот, не испытавший ужасов войны, не насмотревшийся на кровь и слезы, писатель был бы мне гораздо приятней по той простой причине, что был бы он культурней, образованней, писал бы не об обесцененной и надломленной человеческой жизни, не о страданиях и горе, а о чем-то другом, более нужном человеку и природе, что в общем-то и соответствовало моему жизнерадостному и оптимистическому характеру, который хотя и сохранился в войну, однако понес неизбежные утраты, и они-то часто подминают под себя светлое видение мира. И тогда являются в жизнь и в прозу раздражение, подозрительность, недовольство (прежде всего самим собой), порой и озлобленность — самый плохой помощник в писательской работе.

Потом были общие разговоры просто «за жизнь», и мы проводили дорогих гостей только под утро. И ребята мне сказали:

— Лева, какую же прекрасную ночь мы провели сегодня! И какой это потрясающий человек — как он мыслит и как разговаривает!

В самом деле, Виктор Петрович очень интересно разговаривает. Мне, понимаю, не удалось передать хотя бы частичку его интонации. Его речь напоминает речь простого деревенского человека, и в то же время в каждой его фразе столько мудрости, столько красоты, столько поэзии! Так разговаривают очень немногие. И эта сибирская присказка, которую я опустил: «Ага... ага... ага...» — «Лев, вот тут я написал два рассказа, они тебе наверняка понравятся, ага?»

Никогда он ко мне ни с какими просьбами не обращался. Только однажды оператор Толя Заболоцкий, который тоже дружил с Петровичем, сказал мне:

— Лева, надо нам под Москву, в Хотьково, съездить — Виктора Петровича отвезти к одной старушке, которую он считает своей второй матерью.

— О чем разговор! Конечно, поедем.

И мы с Петровичем поехали. В Хотькове быстро нашли ее дом, вошли во двор и увидели роскошный огород. А когда открыли дверь в избу, почувствовали ни с чем не сравнимый аромат засушенного разнотравья. На кровати, под одеялом, слабо просматривалось худенькое тельце старушки, а на нас смотрели умные-умные веселые глаза. Рядом, на подоконнике, стояла тарелка с клубникой. Как потом мы узнали, соседи опекали старушку и ухаживали за ней. Она никуда не хотела уезжать и завещала после смерти и дом, и землю тем, кто ухаживал за ней.

И вот тут началось. Она вдруг стала вспоминать войну — как встречала эшелоны с ранеными, приносила солдатам грибы-ягоды. Казалось, они не могли наговориться с Петровичем. А потом тетя Сима (так звали старушку) неожиданно замолчала, а потом сказала:

— Вить, у меня ведь грех перед тобой... Помнишь, когда Маня привела тебя в

дом, я сказала ей: «Что, ты не могла кого получше найти? Завалящего привела...»

Петрович засмеялся.

— Да я ведь все слышал тогда.

Они посмеялись, а потом тетя Сима посерьезнела.

— Вить, я тут телевизор смотрела. Ну что ты все в драки ввязываешься! Вот ты написал рассказы, а они убить тебя грозятся.

— А чего мне бояться? — опять засмеялся Петрович. — Войну прошли — не боялись, а теперь я козлов всяких бояться должен? Я пишу о том, о чем не писать просто не могу. Ведь ты меня знаешь.

— Вот ты на каком-то съезде, что ли, выступил, всех генералов разозлил. Зачем?

Петрович все попытки тети Симы перевести разговор на серьезные темы сразу же пресекал, обращая все в шутку.

Наконец пришло время расставаться, и тут тетя Сима сказала:

— Вот ты знаешь, Вить, я уже устала жить — пора помирать. Смерть зову...

А Петрович так спокойно:

— А чего ты ее зовешь? Она и так вон бродит где-то рядом. Придет, придет, ты не волнуйся, будь спокойна.

Я был поражен, с каким спокойствием они рассуждают о жизни и смерти: она неизбежна, и чего тут попусту рассуждать! Я даже и не подумал о том, что для Петровича это была очень тяжелая встреча.

В дверях он обернулся, отвесил ей низкий земной поклон и сказал:

— Когда-то еще встретимся? Будем надеяться...

Мы вышли и поехали в Москву. Дорогой Петрович стал рассказывать о войне. Вспомнил, как однажды они захватили немецкую батарею и решили из немецкой пушки открыть по немцам же огонь. А попали совсем не туда — по своей деревне! Оказалось, что у пушки был сбит прицел. Прибежали селяне и чуть этих горе-артиллеристов не избили. Кое-как воины объяснили, в чем дело.

Потом рассказал о старшине, у которого был целый вещмешок различных погон: разных видов войск и разных званий. И вот когда группа подходила к переправе, он смотрел, какие войска охраняют мост, и надевал соответствующие погоны. Говорил, что сам наводил этот плавучий мост и его группа должна переправиться на другой берег, чтобы укрепить там опоры. И их без задержки пропускали.

И вот однажды его «засекли». Он надел погоны особиста и стал орать, что всех пересаждает, если не пропустят его группу. Но он забыл, что на этой переправе он уже два раза был в разных родах войск и с разными званиями: то майор, то полковник. И его избили, чтобы он больше не шалил. Принесли его на плащ-палатке солдаты из другой части и сказали:

— Это мы его отвалтузили, чтобы больше не выкобенивался: ишь ты, стал уже изображать из себя особиста!

Потом вдруг Петрович замолчал. Я посмотрел на него и увидел, что он спит: выплеснул из себя какие-то воспоминания о войне, которые будоражили его, и успокоился, уснул.

А через некоторое время Петрович написал мне, что старушка скончалась.

После этого я долго не встречался с Виктором Петровичем. И тут мне позвонили и попросили подписать открытое письмо в газету: местные власти отказали Астафьеву в персональной пенсии! Я был возмущен: как можно было отказать в персональной пенсии — кому? Человеку, который столько сделал для страны и в войну, и в литературе, и в общественной жизни! Писателю, который уже признан классиком русской литературы! Мне стало грустно, настроение было просто ужасное.

Подумал: что же мы за люди?!



Борис Кобринский
(г. Москва)

УХОД*



Борис Аркадьевич Кобринский родился в 1944 г. в Москве. Руководитель Медицинского центра новых информационных технологий Московского института педиатрии и детской хирургии. Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук и Международной академии информатизации. Автор более 400 научных работ, в том числе 13 книг.

В течение ряда лет совмещает научную деятельность с литературной работой. Автор ряда воспоминаний, литературоведческого эссе. Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

Загадка ухода Толстого из дома. Она мучит меня всю жизнь. Разгадать ее невозможно. Можно только предполагать. Что же все-таки было главной движущей силой, заставившей 82-летнего великого писателя покинуть Ясную Поляну? Здесь и внутренний его конфликт с Софьей Андреевной, и желание жить по правде, как он призывал других, по-крестьянски добывая себе пропитание.

Я пытаюсь взглянуть в его жизнь, поближе познакомиться с его мыслями, сохранными в дневниках и посмертно изданных художественных произведениях последнего периода жизни, в записях близких ему людей.

* * *

Это был его второй уход из дома. Он окончательно решил изменить свою жизнь. Лев Николаевич чувствовал, что далее не может переносить разлад своего внутреннего мира, своего Я с окружающей его жизнью. Он ощущал себя фарисеем, проповедующим отказ от прелестей жизни и одновременно пользующимся услугами других людей. Он чувствовал, что это становится для него невозможным, угнетает его.

Его мучило ощущение дворянского клейма, обязывающего соблюдать неписаные правила, вести определенный образ жизни. Это давило на него, он чувствовал как душа рвется из этих оков, которые не удастся сорвать из-за семьи. Оставался один, давно обдуманый выход — уйти, скрыться из дома, покинуть Ясную Поляну и двинуться в широкий мир крестьянской Руси.

Да, он любил жену, детей, но они не хотели слышать его, считаться с его духовной жизнью. В душе его шла постоянная борьба, но семья, исключая разве что дочерей Александру и Татьяну, пыталась заставить его изменить своим идеалам, что было невозможно. И вот поздним вечером он сделал выбор.

* Публикуем в продолжение тематики «толстовского» № 4, 2010 «Приокских зорь».

Сегодняшняя ночь последняя в Ясной Поляне. К утру его уже не будет здесь. Представления о своей будущей жизни, отвечающей его идеалам, вновь сменялись думами об оставляемых им близких людях — Софье Андреевне, детях, внуках. Эти мысли камнем ложились на сердце, но Лев Николаевич был уверен в правильности принятого решения. Продолжать жить так, как он жил, в непонимании и противоречии со своими убеждениями, он больше не мог. Ему было необходимо ощущение внутренней свободы. Недаром даже составление сборников мыслей «На каждый день», которым он придавал большое значение, вызывало у него внутреннее раздражение, объясняя которое он говорил: «В механической работе есть что-то стесняющее свободу мысли».

Он тяготился невозможностью жить так, как он чувствовал, к чему призывал других. И постоянные ссоры с Софьей Андреевной, и последняя сцена, когда он застал ее в кабинете искавшей его завещание. Именно тогда у него возникло убеждение, что он должен немедленно уйти из дома, покинуть Ясную Поляну. Да еще эта роскошь, — присоединилась тут же привычная мысль.

Все собрано, вещи снесли вниз в повозку. Шел шестой час утра, было еще темно. Лев Николаевич, периодически подсвечивая себе фонариком, спускается на улицу по высокой и крутой подставной деревянной лестнице, чтобы скрипом большой лестницы не разбудить жену. Скорее, скорее выехать из Ясной Поляны; невозможно избавиться от беспокойства, что в последний момент его задержат, вернут в этот дом. Он помогает запрягать лошадей. Прощается с дочерью Сашей и садится в повозку вместе с Душаном Петровичем Маковицким. Проходит несколько минут и вот две белые башенки, обступающие аллею на въезде в Ясную Поляну, остались позади. И в этот момент у Льва Николаевича возникло ощущение, что как бы ушла в прошлое вся прожитая жизнь с ее ошибками, успехами и неудачами, а впереди ждало что-то светлое и чистое, свободное от постоянных угрызений совести.

Раннее утро, темнота на земле и темно-серое небо над головой. Под колесами чавкает осенняя грязь, воздух сырой и сквозь одежду пробирается холод. Создается ощущение, что едут уже очень долго. Лев Николаевич заговорил о том, куда ехать. Потом замолчал. Ему вспомнилось детство, юность, молодость, приезд в Ясную Поляну после женитьбы, создание школы для крестьянских детей и его беседы с ними. Недалеко было Кончаковское кладбище, недавно он попрощался с родными могилами; он вспоминает мать, которую практически не знал, отца, умерших братьев, любимых своих детей — малышкой Машеньку и Ванечку.

И тут же с радостью подумал Лев Николаевич о том, что теперь он будет одним из многих неизвестных людей, потеряется в бескрайних российских просторах и никто не станет обращаться к нему как к вашему сиятельству, а просто будут называть его старичком, как в деревне Кочеты, когда он гостил у Татьяны Львовны. Он привык преодолевать препятствия, преодолевать самого себя. Недаром даже при поездках на лошади он выбирал трудную и нередко опасную дорогу. И сейчас он двигался в неизвестность, где основным, как он был уверен, будет жизнь духа. В то же время, его беспокоил вопрос о том, как скоро будет поезд. В результате его пришлось ждать всего один час.

В ожидании поезда он разговаривает с Душаном Петровичем, хотя правильнее считать это монологом: «Мы сейчас окажемся в другом мире. Это можно сравнить с тем чувством, которое возникло у Пьера и Наташи после возвращения из ссылки — знакомый и в то же время чужой мир».

После Горбачево, куда он доехал в отдельном купе, пришлось ехать в вагоне третьего класса, чего всегда добивался Толстой. Но в этот раз вагон переполнен, сильно накурено. Это было тяжело, и часть дороги Лев Николаевич провел на площадке, просидев на раскладном сиденье своей палки. Из Козельска, наняв проводни-

ка, поехали в Оптину Пустынь, так как в тамошней гостинице не спрашивали паспортов, и это позволяло скрыть свой маршрут и незаметно проехать до Шамординского монастыря, где монахиней жила любимая сестра Марья Николаевна. К ней он приехал в ледяной дождь, но не чувствовал холода, настолько было велико ощущение нежности и радости от встречи.

Боязнь быть достигнутым родными заставила Толстого покинуть Шамордино ночью. Но в поезде у него появился озноб, градусник показал 38,1°, и на станции Астапово он с Маковицким и дочерью Сашей, приехавшей к ним в Шамордино, вынуждены были сойти и воспользоваться любезностью начальника станции, предоставившего им комнату в своем доме.

Толстой в сознании. Вспомнив, что вначале он собирался уехать в село Боровково Тульской губернии, переменив потом это решение на поездку к родным в Новочеркасск, он подумал, что может быть избежал бы этой болезни. И тогда он исполнил бы свое давнишнее желание скитания по Руси, которому, он чувствовал, уже не дано осуществиться. Но затем вновь вернулись привычные мысли о том, что болезнь приближает к смерти, то есть к освобождению духа, которому мешало активное, а теперь ослабевающее тело. Это отвечало его желанию, его мыслям последних лет. Духовное, сознание Бога в себе, должно было, наконец, освободиться от всего бренного, земного, временного.

Всплыла запись в дневнике: «Люди думают, что они живут телесно в этом мире, а между тем они не живут в нем, а только проходят через него. Живут они духовно вне времени и пространства...» Да, он и сейчас, накануне перехода в другой мир, не отказывается от этих слов. Ведь смерть не зло, а одно из необходимых условий жизни.

Но одновременно, в глубине сознания, теснились образы из еще не написанных книг. И первые среди них — декабристы, которые десятилетия занимали его ум, но продолжение «Войны и мир» так и осталось не написанным, и теперь уже это окончательно.

Неожиданно ему вспомнился разговор с секретарем Валентином Булгаковым, помощником, как он называл его мысленно и вслух. Он говорил тогда ему, что тюрьма была бы для него лучше, чем жизнь в доме. И он подумал, что сейчас, больной, будучи изолирован от мира в одной, чужой для него комнате, он как заключенный. А в тюрьме никто не мешает перелистать дни своей жизни. И первыми вспомнились грехи молодости. Подумалось о том, что причиненное каждым из людей зло, наполняет страданиями этот мир.

Временами мысли затуманивались, путались. Он впадал в сонное забытие. Виделось, как он кормит свою лошадку, а вокруг молчащие голодные крестьяне, мечтающие об овсе. Всплывают огромные цифры 1841, напоминающие голодный год. Эту картину сменяют дружные муравьиные семейства, которые он не раз наблюдал в лесу, и детские игры в муравейных братьев, которые все говорят друг другу прямо.

Лев Николаевич проснулся, приоткрыл глаза, но быстро прикрыл их, вновь погружившись в дрему. Вскоре его лицо сделалось мрачным. В это время он видел себя за карточным столом. Он пытался вырваться, уйти от этого сновидения. Наконец это ему удалось. Открыв глаза, он попросил пить. На вопрос дочери Саши, сообщить ли о его болезни семье, попросил вызвать Черткова. Когда тот на другой день приехал, они оба плакали от радости этой встречи. Позже, с ухудшением состояния, телеграмма с просьбой привезти доктора Никитина была послана Сергею Львовичу.

Толстой ощущал приближение конца земной жизни. Но это его не пугало, а радовало. Ему припомнилась еще одна недавняя запись для дневника: «Бог дышит нашими жизнями и всей жизнью мира. Он и я одно и то же». Это правильно, подумалось ему, Бог во мне. И вспомнилась еще одна фраза: «Когда сознаешь Его в себе и в других существах, то сознаешь Его и в Нем самом». Уход в другую земную жизнь в

глубине России или в смерть представлялся ему сейчас одинаково желанным. Это было избавление от прошлого, от того зла, которое сопровождало его жизнь. Подходящему к нему в это время доктору он сказал: «Ближе к смерти, это хорошо».

Вновь наступило забытье, в котором он что-то очень тихо и неразборчиво говорил. Было похоже на внутренний монолог. Но вдруг все услышали громко и четко произнесенное: «Удирать, надо удирать!» Его мучил страх возвращения в Ясную Поляну, к прошлой жизни, от которой он стремился уйти.

Через некоторое время, открыв глаза, привычно попросил записать что-то. Александра Львовна подошла к нему с карандашом и блокнотом, но Лев Николаевич ничего не говорил. Потом попросил прочитать записанное и стал волноваться. Давала себя знать многолетняя привычка диктовать, исправлять и вновь уточнять, шлифовать свои мысли.

Вечером, накануне конца, придя в себя, Лев Николаевич пытался говорить с сыном Сергеем, но из сказанного почти неслышным голосом удалось разобрать лишь «Истина... люблю...» О том, что истина является его героем, которого он любит всеми силами своей души, Лев Толстой впервые сказал, будучи еще молодым человеком. И пронеся эту любовь через всю жизнь, он как бы передавал ее своему Сереженьке.

Приехавшую экстренным поездом Софью Андреевну долго не пускали к мужу. Боялись, что такое волнение для него опасно. Увидела она Льва Николаевича, когда он был уже без сознания. Сев у изголовья, она говорила с ним, просила у него прощенья, шептала нежные слова.

В это время, перед мысленным взором Льва Николаевича проносились образы Васи и Егора, которых он учил в Яснополянской школе и с которыми ездил в башкирские степи, Ерошки из Старогладковской станицы на Кавказе, детей, Софьи Андреевны, Владимира Григорьевича Черткова, брата Николеньки. Он как сквозь вату слышал обрывки слов, обращенных к нему и как-будто разговоры между собой людей, в молчании находившихся в комнате. Но вдруг наступила тишина, он успел ощутить безмерный покой, и все скрылось в темноте.



Рудольф Артамонов*
(г. Москва)



ПОВЕСТЬ О РУССКОЙ СОЛЬВЕЙГ

Часть первая. ГРЕГОР

— Нет твоей Фимы. Ушла с другим.

Грегор не уходил. Его лицо невысокого плотного мужчины выражало скромность и одновременно настойчивость.

— Можно я подожду,— сказал он.

— Подожди, подожди. После дождика в четверг придет твоя Фима. Как нагуляется.

Грегор расстегнул легкое пальто, снял клетчатую кепку с ушами, застегнутыми на макушке, сел на табурет.

Лиза повернулась к своим подружкам, растянула пальцами ноздри своего востренького носика, а глазами показала на усевшегося Грегора.

Две подружки Лизы втянули носом воздух и закатили глаза от восхитительного духа, исходившего от Грегора.

— Гриша, а как будет по-английски «здравствуйте»? — спросила Лиза.

— Хау ду ю ду,— спокойно ответил Грегор, вполне понимая, что девчонки над ним потешаются.

— А по-испански?

— Салют.

Грегор достал из кармана пальто газету и стал читать. По всему было видно, что уходить скоро он не собирается.

Не очень тихим шепотом Лиза сказала подружкам: «Уже месяц ходит. То ли англичанин, то ли испанец. Фимка от него бегать стала, а он все ходит. Цветов не носит, но конфеты — пальчики оближешь. Ко мне подлизывается — самописку подарил, заграничную. Чтобы я не отговаривала от него сестру. А мне-то что!»

Грегор слышал этот шепот, но понимал не все. Он знал, что сестра Фимы не любит его, но обиды на нее не имел. Она была веснушчатый длинноногий подросток и чем-то напоминала его младшую сестру Дженнифер, единственную из всей семьи не осуждавшую его за отъезд в советскую Россию.

«Такой же пострел,— думал он по-английски,— задира. Как говорят по-русски, палец в рот не положи».

«Как они все там,— продолжал по-английски думать Грегор.- Не пишут. Не могут простить».

Он тяжело вздохнул.

— Сказала, с другим ушла. Придет не скоро, вздыхай - не вздыхай,— сказала Лиза.

Вдруг Грегор поднялся и подошел к ситцевой занавеске, разделявшей небольшую

* Наш постоянный автор.

комнату пополам. Одна половина принадлежала старшей сестре, Пелагии, с ее мужем. Другую — занимали Лиза и Фима. Грегор отодвинул занавеску. За ней стояла Фима.

— У меня есть два билета на фильм,— спокойно сказал Грегор.— Пойдем, пожалуйста.

Фима была вся красная. Пришлось под взглядом Грегора становиться на колени и из-под кровати вытаскивать свое пальто. Оно подалось не сразу, кровать была низкая, не кровать, собственно, а топчан, сколоченный мужем Пелагеи из досок. Фиме с трудом удалось запихнуть пальто под кровать перед приходом Грегора, чтобы он не обнаружил его и не догадался, что она дома. Теперь с таким же трудом приходилось его вытаскивать.

Когда пальто было извлечено, Фима предстала перед Грегором с пылающим лицом и сердитыми глазами.

Грегор растерялся. Он думал, что она сердится на него, а не на пальто или ситуацию, невольным свидетелем которой он стал. В груди у него защемило. Он боялся этой боли. Ничего хорошего она не предвещала.

— Пошли? — сказал он Фиме, и голос его был нетверд.

— Пошли,— коротко сказала Фима и сердито посмотрела на сестру.

— Идите, идите, голубчики,— сказала озорно Лиза. Когда Грегор направился к двери, она растянула пальцами свои ноздри и показала его спине язык.

* * *

Они вышли с Донской на Якиманку. По улице двигалась колонна демонстрантов.

«Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля ...» оглушительно неслось из репродукторов. Было прохладное майское утро. Первомай. Так назывался этот праздник по-русски. Праздник солидарности трудящихся всего мира. Грегор пришел в волнение. Он любил демонстрации. Вид большого числа людей, охваченных единым порывом радости, простые лица простых людей, когда каждый друг другу товарищ, брат, когда нет в этом потоке сытых буржуазных господ, одеждой и выражением лица старающихся отличить себя от остальных, когда над головой плещутся красные флаги и гремят пролетарские песни — все это заставляло быстрее биться его сердце, блестеть глаза. Его смуглое лицо с широким носом, который так не нравился Лизе, светилось радостью.

Он распахнул пальто и снял свою клетчатую кепку. Он готов был любому из рядом идущих демонстрантов пожать руку, похлопать по плечу и сказать — «товарищ», «пролетарский друг».

Там, на его далекой заокеанской родине демонстрации были оружием классовой борьбы, противостояния, иногда жестокого и кровавого, власти, буржуазной власти, враждебной трудовому народу. Там на тех демонстрациях им владели чувства гнева и страха, ожесточения и решимости. Там всегда был риск получить удар полицейской дубинки или оказаться в участке.

Здесь все было по-другому. Здесь — искренняя радость, всеобщее ликование. Здесь — волнующее сердце шествие свободных людей свободного общества, полных сознания своего достоинства, настоящих хозяев своей страны, которым некого бояться. Радость переполняла сердце иностранного коммуниста, отвергшего прелести буржуазного существования, и вопреки воле своих близких приехавшего в страну победившего пролетариата, взявшего власть в свои руки и строящего совершенно новое, свободное от лжи и насилия общество.

Его радость удваивалась оттого еще, что рядом была Фима. Русская девушка, из рабочих, с крепкими руками и сильной фигурой. Она спокойно шла рядом с ним. Ее лицо не светилось радостью. «Для нее демонстрация — привычное дело. Она выросла в свободной стране»,— думал Грегор.

Он впервые увидел Фиму на заводе «Красный пролетарий». Сопровождал делегацию американских рабочих в качестве переводчика. Фима стояла у станка в красной косынке и комбинезоне.

Уверенные движения сильных рук, спокойное красивое лицо девушки вызвали восхищение американских рабочих. Делегация остановилась у ее станка. Американцы кивали головами и что-то говорили Фиме.

— Американские рабочие приветствуют русскую рабочую девушку,— сказал Грегор Фиме. — Они рады видеть, как она хорошо работает.

— И от меня передавайте им привет,— сказала спокойно Фима, не прерывая своей работы.

Грегор перевел.

Американцы заулыбались, один из них похлопал ее по плечу, и они пошли дальше.

Грегор часто потом вспоминал русскую девушку, стоящую у станка в красной косынке, уверенную в себе и умеющую держаться с достоинством.

«Это люди нового типа. Это креатура нового строя, при котором пролетарий — хозяин своей судьбы и страны» — думал он.

Но Грегор был молод, всего двадцать пять лет. Эта девушка поразила его не только своими пролетарскими достоинствами. Она была красива. Смуглое лицо и черные волосы, выбивавшиеся из-под красной косынки, делали ее похожей на девушек его страны. Это усиливало ее привлекательность для Грегора. Он скучал по своим, по родине. Он не жалел, что приехал в Россию. Выбор был сделан сознательно. Он несколько лет учил русский язык, чтобы осуществить свою мечту приехать сюда и вместе с русским рабочим классом строить новый, доселе невиданный мир.

Но молодость и южный темперамент брали свое. Его товарищи по Коминтерну были не чужды любовных авантюр с русскими девушками. Особенно отличались французы. Ох, уж эти французы! Кажется, кроме коммунизма, они и думали только о девушках. Для Грегора коммунизм и любовное легкомыслие казались несовместимыми. Девушки — такие же товарищи, которые трудятся рядом с тобой, делают одно большое общее дело.

После той встречи на заводе девушка с завода «Красный пролетарий» не уходила из его памяти.

Второй раз он увидел ее на торжественной встрече коллектива завода с делегацией испанских рабочих. Испанский был его родным языком, и он опять был переводчиком делегации.

Фима сидела в президиуме собрания, за длинным, покрытым зеленым сукном столом, рядом с кем-то из партийных вождей, кажется, Вячеславом (какие трудные у русских имена) Молотовым. Такой чести удостоивались ударники труда, лучшие рабочие. Русские товарищи говорили долго и очень серьезно, переводить было трудно. Стоя рядом с очередным оратором на трибуне, Грегор поглядывал на девушку в президиуме. И видел, что ей было скучно сидеть так долго и нечего не делать.

После мероприятия Грегор подошел к Фиме, сказал, что видел ее раньше, на заводе, у станка, что ему очень нравятся Россия, русские пролетарские товарищи, и что в России очень красивые девушки.

Он проводил ее до общежития рабочих завода, где она жила, и попросил разрешения приходить.

И вот теперь она шла рядом с ним в колонне Первомайской демонстрации.

В отличие от Грегора Фима не была взволнована происходящим вокруг нее. На демонстрациях она бывала уже не раз. С самого начала, когда она шестнадцатилетней девушкой приехала из Сасова в Москву и поступила на завод ученицей на шлифовщицу, первая демонстрация на Октябрьские праздники произвела на нее сильное впечатление. С тех пор прошло три года. По две демонстрации в год — первомайская

и октябрьская. Ничего особенного. Демонстрация как демонстрация. Было довольно прохладно, время от времени начинал порошить снег. Фиме хотелось в кино или в кафе. Она встречалась с Грегором уже три раза, и каждый раз они заходили в кафе на Пятницкой. «Выпить чашечку кофе», как говорил он.

Этот иностранный парень, то ли испанец, то ли американец, Фима еще не знала, вызывал в ней больше любопытство, чем какое-либо иное чувство. Он приехал в Советский Союз недавно, года нет, и ходил еще в иностранной одежде. Фиме нравилось, что на улице на них обращают внимание, что он всегда водил ее в кино или кафе, а не просто слонялся с ней по улице, как делали другие Фимины молодые люди. В кино он покупал ей мороженное, в кафе умел долго пить всего одну чашечку кофе, рассказывал ей о своей стране и расспрашивал ее о ней самой, о заводе, на котором она работала. Это было не похоже на встречи с ее знакомыми парнями.

Иногда Фима чувствовала себя неловко с Грегором. Ей казалось, что он ее изучает, как неведомое ему существо из неведомой страны. Но уклониться от встреч с ним не удавалось. Он всегда умел настоять на своем, как сегодня. А ей было неудобно ему отказывать. Все-таки иностранец. Лизка, младшая сестра, сразу невзлюбила Грегора. А Фиме он нравился все больше, и она этого боялась.

Демонстрация, оглушая их лозунгами, несущимися из репродукторов вперемешку с песнями, выкриками здравниц в честь партии и Сталина, несла их по улице дальше и дальше вместе с танцующими и веселящимися празднично одетыми людьми.

— А в кино мы пойдем? — спросила Фима, не желавшая ни танцевать, ни петь и изрядно озябшая в своем легком коротком пальтишке.

— Да, да,— поспешно сказал Грегор.

Они выбрались из колонны демонстрантов, поворачивавших на мост через реку. Грегор сделал это без сожаления. Он чувствовал себя плохо. В груди, там, где сердце, неприятно щемило. Боль началось пять минут назад, и он знал, что она будет только усиливаться. Это было не в первый раз.

— Не иди быстро, пожалуйста,— сказал Грегор Фиме.

— Что с вами? — спросила Фима.

Она повернулась к нему и увидела, что он бледен.

— Я болею. Мне надо садиться,— ответил он.

На счастье, они шли мимо сквера. Она усадила его на скамейку. Он медленно стал клониться. Пришлось уложить его.

— Мне больно. Давит здесь,— тихо сказал Грегор и указал на середину груди.

Фима поняла не сразу, что надо делать.

Грегор показал, что надо делать.

Фима поняла. Она обеими руками стала надавливать ему на грудь.

— Больше. Больше, пожалуйста,— шептал бледными губами Грегор.

Стали собираться зеваки. Посыпались советы, что и как надо делать. Кто-то поспешил вызывать «скорую».

— Довела парня. Вертихвостка,— сказала какая-то бабка.

Фима было жалко Грегора и страшно неловко, что вокруг стоят люди.

— О, Фима,— стонал Грегор и умоляющими и извиняющимися глазами смотрел на нее.

Приехала «скорая».

Грегора уложили на носилки. Когда их вдвигали в машину, он не сводил глаз с Фимы.

Ей не разрешили сопровождать его в больницу.

* * *

— А что сказать Грегору, если придет,— не спросила, а с издевкой сказала Лиза.

— Сама знаешь. Скажи, что ушла с другим,— ответила Фима.

— Ладно, скажу, что ушла на собрание комсомольской ячейки. Идет?

— Идет.

— Что ты в нем нашла. Он хоть тебя угощает?

— Угощает, угощает.— ответила Фима, надевая вязаную бабкой Стешей еще в деревне кофту и поправляя свои черные, коротко стриженные волосы перед зеркалом.— Вчера «угостил». Ему стало плохо с сердцем. Прямо на улице. Отвезли в больницу. Я так испугалась.— говорила Фима. Зеркало было маленькое, стояло на комод, и разглядеть себя всю ей не удавалось. Она поворачивалась перед ним одной стороной, другой, оглядывая себя. — Вообще мне жалко его. Ему, наверно, трудно у нас.

— А ты пожалей его,— озорно сказала младшая сестра.

— Ну вот, кажется все,— сказала Фима, надев пальто и бросив заключительный взгляд на себя в зеркале.

— Пашке пламенный комсомольский привет! — сказала Лиза.

— Отстань,— ответила Фима и ушла.

Павел, или Павел Иванович, ждал ее у входа в Парк культуры и отдыха имени Горького. Он был лет на пять старше Фимы, учился на рабфаке, носил галстук и был бригадиром Фиминой бригады шлифовщиц. Они встречались с полгода. Фиме льстила дружба с Павлом. Она долго была с ним «на вы». Сначала даже звала его Павлом Ивановичем.

Павел Иванович был из деревенских и жадноват. Их встречи чаще всего заключались в долгих хождениях по улицам. Иногда, как сегодня, он назначал ей свидание в парке, и это означало, что он угостит ее мороженым, самым дешевым, и еще они пойдут в Комнату смеха и будут смеяться друг над другом.

Паша, Павел Иванович, был занятный молодой человек. Он передружился со всеми девушками своей бригады, и с каждой его «роман» был недолог. Он был осторожен с девушками. Боялся «зайти слишком далеко», слишком потратиться на «подругу» и свидания им назначал редко. Фима нравилась ему. «Все при ней»,— говорил он сам себе. В глубине своей не очень глубокой души он чувствовал, что у него с ней надолго, может быть, навсегда. Импонировало ему и то, что она много от него не требовала. Довольствовалась скромными его «угощениями» и длительными прогулками.

Фима же продолжала знакомство с Павлом Ивановичем, во-первых, потому, что ей эта дружба льстила — все-таки бригадир, рабфаковец, будущий инженер, а во-вторых, он был свой, из простых, как и она. Естественным женским чутьем догадывалась, что он со временем подчинится ей, и она будет верховодить, а не он, как сейчас. Ну, и в-третьих, у нее сейчас просто не было никого лучше. Грегор не в счет. Он иностранец. Кто его знает, что у него на уме. У них на заводе не принято дружить с иностранцами. На них смотрят косо. Делегации иностранные, конечно, встречают радушно. Говорят о дружбе и солидарности всех трудящихся мира, улыбаются, трясут руки. Но чтобы кто-то дружил с кем-то из них, Фима об этом не знала. Не видела.

У Паши, Павла Ивановича, тоже были свои резоны. Двадцать пять. Пора прокормить сможет. Все-таки бригадир. Скоро будет инженером. Он это очень ценил. И, как крестьянский сын, боялся прогадать. Фима, конечно, лучше его, красивее, ударница, в президиум сажают. Надо сделать так, чтобы она чувствовала, что он, Павел Иванович, делает ей честь, что он не просто Паша. Ее даже никто не зовет Ефимия. Зовут просто «Фима» и даже «Фимка».

Но Фима не очень-то выказывала почтение к своему «ухажеру». Знала себе цену. Это озадачивало бригадира. Другие его «зазнобы» так и льнули к нему. Приходилось остерегаться, чтобы «не зайти слишком далеко». А Фима — нет. Ей как будто было все равно — бригадир он или нет, просто парень.

Павел Иванович, как ни боялся, уже готов был с Фимой «зайти далеко». Стал делать попытки «давать волю рукам». Фима знала, что мужчины без этого не могут, но

почему-то прикосновения Павла Ивановича ей были неприятны, он это почувствовал и оставил свои попытки.

В тот вечер они долго, до усталости, гуляли по парку. Ели мороженое. Заходили в Комнату смеха. Паша охотно смеялся над Фимой. Фиме же казалось, что кривые зеркала делают Пашину фигуру еще нескладней, чем на самом деле, а его большие уши еще больше.

После Первого мая в парке открывали лодочную станцию, в пруд выпускали белых лебедей. Они бесшумно скользили по тонкой водной глади среди прошлогодних листьев, легким ветерком сдуваемых в пруд. Их кормили с лодок. Лебеди подбирали кусочки печений, булок, но лодки близко к себе не подпускали, величаво отплывая от них подальше.

— Покатаемся? — спросила Фима.

— Очередь большая, — ответил Павел Иванович неохотно. — Через час уже темно будет.

Они еще долго, молча, ходили по аллеям парка. Дотемна.

Фима устала. Павел Иванович тупо молчал. Ему было неловко за неудачное свидание. Скучающий вид Фимы злил его.

Когда они остановились у фонаря, и Фима достала из сумочки зеркальце, чтобы поправить прическу, Павел Иванович злым голосом сказал:

— Фима, а ты ведь рябая.

— Найдите себе гладкую, — сказала Фима.

Она повернулась и пошла по аллее к выходу из парка.

Павел Иванович испугался и не стал догонять ее.

— Ну, что? Чем отличился сегодня Паша? Мороженое и Комната смеха? — спросила Лиза, когда Фима вернулась со свидания.

— Отличился, — коротко ответила Фима.

— Значит, отличился, — заключила сестра, видя, что Фима расстроена и вовсе не расположена к разговору.

Лежа в темноте в постели, Фима с обидой до слез вспоминала слова Павла Ивановича. «Рябая! Никто никогда не говорил мне об этом. Даже подруги». Пятилетней девочкой в деревне, в Березове Колдомышевского района, у бабушке Стеши она заболела оспой. Болела тяжело, но осталась жива. Только на лице осталось пять маленьких «рябинок». Еле заметных. По две на щеках и одна на лбу. Если припудрить лицо, их не было видно. Но пудриться Фима не любила. На заводе девчонки не пудрились. Была одна, которая пудрилась, но она была взрослая.

Фима не догадывалась, что слова, сказанные Павлом Ивановичем, имели только одну цель — унижить ее, показать ей свое превосходство.

Фима долго ворочалась в постели. Перед тем, как заснуть, она решила, что никогда больше не будет встречаться с Павлом Ивановичем. Засыпая, она думала о Грегоре. Случившееся на первомайской демонстрации с ним вызывало теперь в ней чувство жалости и что-то еще, чему она пока не знала названия.

* * *

Заболела Лиза. В ночь на воскресенье у нее разболелся живот. Пелагии, старшей сестры, не было. Она с мужем уехала в отпуск в деревню, к своим.

Фима сначала думала, что все обойдется. Велела сестре не вставать, лежать в постели. Но Лизе лучше не становилось. К полудню ее вырвало. Она лежала, бледная, скрючившись, обхватив руками живот, и стонала.

Фима стало страшно, когда к вечеру Лизе не стало лучше.

— Лизка, не закрывай глаза. Что с тобой?

— Не видишь, умираю, — сказала Лиза.

— Дура.

— Сама дура.

— Нашла время остричь. Мне страшно, а ты...— жалобным голосом сказала Фима.

— Вызови врача. Не проходит никак. Чего ждать? — со стоном сказал Лиза.

Фима заметалась. Куда идти? Что надо делать?

Фима была здоровой девушкой. Никогда не болела. Как все здоровые люди, она очень боялась болезней. Она не понимала, как это что-то может болеть. За болью ей чудилось что-то страшное. Ей казалось, что сейчас на ее глазах Лиза умрет. А она, Фима, стоит и не знает, что делать.

— Возьми пятиалтынный и иди звони,— слабым голосом сказала Лиза сестре.

— Да, сейчас, сейчас.

Фима накинула на плечи кофту и направилась к двери.

В дверях она столкнулась с Грегором. В руках у него были цветы.

В первый раз она искренне обрадовалась его приходу.

— С Лизой плохо,— сказала она, взяла его руку и повела в комнату.

Фима стеснялась, когда Грегор приходил к ней в дом. Она не хотела, чтобы он видел, как они бедно и неустроенно живут. Она догадывалась, что там, за границей, откуда он приехал, живут по-другому, лучше, красивее, чем они здесь. Здесь все было убого — маленькая комната, перегороденная занавеской, две кровати, тумбочка, комод с осколком зеркала не нем да две табуретки.

Но сейчас было не до стеснения. Страх за сестру вытеснил все.

Увидев Лизу, Грегор сразу понял, что дело серьезное.

— Необходим доктор,— сказал он Фиме.

— Надо терпеть. Недолго,— сказал Грегор, присев на табурет рядом с Лизой и беря ее руку в свою.— Мы пойдем звать доктора.

Фиме стало легче: Грегор знал, что делать.

Они вышли на улицу, позвонили из телефонной будки на «скорую» и сделали вызов.

— Не волнуйся. Доктор поможет,— говорил он Фиме, обнимая ее за плечи, когда они возвращались к Лизе. Фима заплакала. Грегор еще никогда не обнимал ее. Самое большое, что он позволял себе, это взять ее под руку или предложить свою. Сейчас его объятие показалось ей таким естественным жестом сочувствия, что она сама прильнула к плечу Грегора.

Пока они ждали врача, Грегор сидел рядом с кроватью Лизы, держал ее за руку и рассказывал ей про свою сестру, Дженифер, которая живет там, далеко, за океаном, и очень на нее, Лизу, похожа. Такая же светленькая, не как он, Грегор, черноволосый, с тонким остреньким носиком, как у Лизы, а не как у него, с широкими ноздрями.

При упоминании о ноздрях, Лиза слабо улыбнулась. Несмотря на боль в животе, ее забавляла неправильная русская речь этого смешного иностранца.

Фима смотрела на Грегора, улыбающуюся сестру, и ей захотелось, чтобы Грегор был с ними всегда.

Эти три года в Москве Фима и Пелагия прожили трудно. Одни в чужом огромном городе, без старших — родителей или кого-нибудь из родственников, без подмоги из дому. Кто поможет — бабушка Стеша, которой самой за семьдесят? Когда они нашли работу, и Пелагия получила комнату в общежитии на себя и на Фиму, они решили вызвать из Сасова младшую сестру, Лизу. Образование дать, на работу устроить. Теперь Пелагия вышла замуж и скоро ей, как семейной, от производства дадут отдельную комнату, и Фима останется с Лизой одна, за старшего. Она боялась этого. Вот теперь Лизка заболела. А она даже не знает, что надо делать. Хорошо Грегор с ними.

Грегору в чужой стране тоже не хватало близких людей. Там, у себя дома, он был старший брат двух сестер. Он любил их и теперь скучал по ним. Старшая из сестер, как и его родители, осуждала его за решение уехать в далекую советскую Россию и

перед отъездом неделю с ним не разговаривала. Отец, крупный адвокат, и слышать не хотел о «красных» идеях сына. Считал это блажью, надеялся, что это скоро пройдет. Но «это» не проходило, сын собрался в Россию, к большевикам! Отец пришел в ярость. Перестал разговаривать, а потом и видеться с сыном. Мать сначала металась между мужем и сыном и, наконец, стала на сторону мужа. Грегор стал чужим в своей семье. Никто не вышел проститься с ним. Только его любимица, светловолосая Дженифер, перед его отъездом улучила момент, когда никто не мог ее заметить, бросилась ему на шею и заплакала. Ей так не хотелось с ним расставаться...

Приехала «скорая».

Врач осмотрел Лизу.

— Аппендицит,— сказал он. — В больницу.

— Вы кто ей будете, брат? Несите в машину,— сказал он, обращаясь к Грегору.

Фима помогла Лизе одеться. Та, не стесняясь Грегора, позволила себя переодеть прямо при нем. Когда Лиза была готова, Грегор бережно взял ее на руки и понес к машине.

Он вспомнил, как в прошлом году он учил Дженифер езде на велосипеде, и она свалилась с него, и больно ушибла ногу. Вот так же, как сейчас эту русскую девочку, он нес Дженифер по аллеям их парка к дому и утешал, рассказывая всякие смешные истории.

Им не разрешили сопровождать Лизу в больницу в карете «скорой помощи». Сказали, что отвезут больную в больницу имени Тимирязева.

Это было недалеко, на Полянке. Когда они приехали туда, им сказали, что Лизу взяли на операцию. Они просидели в коридоре хирургического отделения до трех часов ночи и не уходили, пока операция не закончилась. Узнав о благополучном исходе, они пошли домой.

Грегор провожал Фиму. Они шли ночными улицами Москвы, и Фима, несмотря на усталость и тревоги, пережитые за день, хотела, чтобы эта дорога от больницы до дома никогда не кончалась.

Когда у дверей ее дома Грегор протянул ей руку, Фима неожиданно для себя прильнула к нему и поцеловала его в губы.

* * *

— Фима ушла в магазин,— сказала Лиза, когда Грегор пришел. — Она скоро вернется,— поспешно добавила она, боясь, что Грегор уйдет.

Она лежала на кровати и была еще слаба после операции. Лицо ее было бледное, а носик еще более остреньким, чем всегда.

— Это тебе,— сказал Грегор, сядя рядом с кроватью Лизы на табурет. Он достал из портфеля и положил на тумбочку три больших яблока.— Ты должна быстро быть здорова.

— Ты должна быстрее выздоравливать,— поправила Лиза.

— Хорошо. «Ты должна быстро выздоравливать»,— повторил за ней Грегор. Потом сказал,— Тебе надо молчать. Нельзя напрягать живот. Рана плохо заживает, если напрягать живот.

— Значит, мы будем молчать? — спросила Лиза.

— Я буду тебе читать книгу. Хорошо?

— Хорошо. Только что-нибудь интересное и по-русски.

Грегор улыбнулся, оценив юмор девочки, и снова открыл свой портфель.

— Карл Маркс. «Капитал»? — в свою очередь пошутил он.

— Это читайте дома,— сказала Лиза.

— Хорошо. Тогда буду читать Чехов. О'кей? — сказал Грегор, доставая из портфеля небольшую книжку.

— О'кей,— ответила в тон ему Лиза.

— «Дом с мезонином»,— начал Грегор. — Что такое мезонин, Лиза?

— Не знаю,— ответила Лиза.

Грегор читал. Лиза, слушая его, улыбалась, когда он неправильно произносил русские слова. Поправляла его. Он послушно исправлял свои ошибки. Делал это подчеркнуто старательно, и оттого было еще смешнее. Придерживая рукой живот, чтобы не было больно, Лиза хмыкала, еле сдерживая смех.

За этим занятием их застала Фима. Грегор встал, увидев ее.

Она не удивилась, что Грегор здесь. Он помог привезти Лизу домой, когда ее выписали из больницы, и опять на руках поднимал ее на второй этаж до самых дверей.

Фима поставила сумку на пол, сняла пальто и присела рядом с ними на свободный табурет.

— Читайте, читайте,— сказал она,— я тоже послушаю.

Она вглядывалась в лицо Грегора, склонившегося над книгой. Теперь он нравился ей больше. В первые встречи он казался ей некрасивым. «Лицо какое-то иностранное»,— думала она тогда. К тому же бабочка, вместо галстука. Клетчатая кепка с ушами на макушке. И в обращении с ней он был не как все, не простой. Не брал ее под руку, а подставлял свою. Всегда провожал до дома, но без приглашения в дом не входил. «Ненашенский какой-то»,— не раз думала она. На улице, на людях с ним она себя чувствовала неловко, стеснялась. Ей почему-то казалось, что на нее смотрят осуждающе за то, что она с иностранцем. А то, что Грегор иностранец, было видно за версту, считала она. На заводе еще никто не знал о ее дружбе с Грегором, и она боялась, что когда-нибудь узнают.

Сейчас лицо Грегора стало ей более понятным. Он перестал для нее быть иностранцем. Что-то даже родное угадывалось в нем. Такой же смуглый и черноволосый, как она, Фима. Он сидит на табурете рядом с кроватью Лизы и читает ей книгу, как читал бы брат своей сестре, близкий родной человек. Она даже перестала стесняться убогости своего жилья, этих табуреток, сколоченных из досок мужем старшей сестры Пелагии кровати, ее и Лизиной.

— Давайте пить чай,— сказала она.— Хватит читать, Грегор устал.

Лиза, не ожидая такого от Фимы, удивленно воззрилась на сестру, а потом, придерживая живот, чтобы не было больно, захмыкала, сдерживая смех.

— Я купила сахар. И две сайки,— сказала Фима, извлекая из сумки продукты.— А нас трое. Лизке, как больной, целую, а мы с тобой поделимся.

Фима неожиданно для себя в первый раз назвала Грегора на «ты» и даже не заметила этого. Грегор тоже не заметил.

Фима постелила на тумбочку чистое полотенце, поставила три стакана, сахар на блюдце и выложила две сайки.

Фима и Грегор не ушли от Лизы. Они просидели за чаем все то время, которое было предназначено для свидания.

Когда это время закончилось Фима пошла проводить Грегора до остановки трамвая.

— В пятницу мы пойдем в Большой театр. Там будет «Кармен». Ты слушала «Кармен»?

Фима не знала, что такое «Кармен». И никогда не была в Большом театре, хотя слышала о нем.

— А когда, в какое время? — спросила она, не отвечая на вопрос.

— Вечером, в девятнадцать часов.

— Хорошо, пойдем. У меня утренняя смена, к семи успею.

Когда Грегор протянул ей руку, она опять поцеловала его.

С подножки трамвая Грегор помахал ей рукой.

Фима помахала в ответ, повернулась и пошла к дому.

Был теплый майский вечер. Последние дни мая. Зелень на деревьях была еще свежей. Зажигались фонари, делая улицу красивой и таинственной. Фима шла, напевая какой-то веселый мотив, без слов. Самое страшное было позади — Лизка выздоравливала. На работе все было хорошо. Грегор... Пятница будет послезавтра.

* * *

Фима ошибалась, думая, что на работе никто не знал о ее дружбе с Грегором. Знали.

— Кузнецова, зайди ко мне в обеденный на минутку,— сказала ей Мария Петровна, парторг цеха.

«Я же не партийная, а комсомолка,— недоуменно думала Фима.— С чего это прямо сразу в партком?»

В комнате парткома была только Мария Петровна. Она сидела за столом. Сзади нее на стене висел портрет Иосифа Виссарионовича Сталина. На столе стоял графин с водой и два стакана.

— Садись, Кузнецова. Рассказывай, что у тебя там с этим иностранцем. Как его зовут?

— Грегор,— коротко ответила Фима, садясь за стол напротив Марии Петровны.

— А фамилия?

— Не знаю. — Фима сама удивилась, что до сих пор не знает фамилию Грегора.

— А что ты еще не знаешь о нем?

Мария Петровна, в общем, была добрый человек. Могла поругать, даже накричать. Но была отходчива, зла не держала. Любила молодежь. Отчитает громко, а потом возьмет своей большой сильной рукой и крепко прижмет провинившегося, не глядя, парень это или девушка, к своей необъятной теплой груди. Ей было за сорок. В цехе она никого не боялась.

— Ничего не знаю.— Фима опустила голову. Ей, в самом деле, показалось, что она сделала что-то ужасно неприличное, подружившись с Грегором. Но потом мысль эта сразу переменялась. «А что в этом плохого,— подумала она, поднимая голову.— Он хороший, заботливый. Добрый». «Он не пристает»,— добавила она про себя,

— Но Марь Петровна, он очень добрый. Он мне помог, когда Лизка заболела,— сказала она вслух.

— А что с ней? — спросила Мария Петровна.

— Ей аппендицит вырезали.

— Боюсь я за тебя, Ефимия. Москва большой город. Кого здесь только нет. Теперь вот иностранцы эти. Ты откуда в Москве?

— Из Сасова. Рязанская область.

— То-то и оно, что из Сасова. Кто их знает, что у этих иностранцев на уме. С виду они все добрые да хорошие. Он к тебе не пристает?

— Что вы, Марь Петровна! — Фима зарделась.

— Еще не разучилась краснеть,— констатировала парторг.

— Обходительный? — продолжала спрашивать Мария Петровна.— Пальто подает, цветы дарит? Наши парни так не умеют. Ты и растаяла. Ох, девки, девки-дуры. Все мы такие. В молодости.

Мария Петровна замолчала. Она думала о чем-то своем. Ее крупное властное лицо сделалось мечтательным.

— Расскажу! Тебе одной расскажу. Нравишься ты мне, Ефимия Кузнецова.

— Это было в Гражданскую. Нет, раньше. Он был из дворян. Не шибко богатых, но дворянин. Инженером был вот на этом самом заводе. Он тогда по-другому назывался, не «Красный пролетарий». Мне было двадцать пять. В этом же цехе работала.

Рабочая. Но из себя я видная была. Стройная, не то, что сейчас. Ухажеров у меня было, хоть отбавляй. Ему сорок. Высокий, красивый, брюнет. Знаешь, что это такое? Черноволосый, значит. Он меня тоже добротой да хорошими манерами взял. Красиво ухаживал. Не лапал, не лез целоваться, в койку не тащил. Не красней, не красней, Ефимия. Звал Марией. Не Машкой, не Маруськой. Марией. Понимаешь?

Фима сидела и не сводила глаз с Марии Петровны.

— Чего там долго рассказывать: полюбила я его, как только простая русская баба может полюбить. Он тоже меня любил. Хотел детей заводить. Расписались даже. Комнату отдельную нам дали. Он специалистом был хорошим по станкам. А потом что-то сломалось в нем. Стал крепко выпивать мой Константин. Спрашиваю: что с тобой, Костя? Молчит. Только посмотрит на меня, отвернется, и сам чуть не плачет. Стали его в органы таскать. Я это потом узнала. Сначала все думала, что есть у него кто-то. Баба какая-нибудь. Полюбовница. Вот он с тоски и пьет, не может мне по честному сказать. Я уж думала, ладно, отпущу его. Чего человек так страдает. А он однажды исчез. Не пришел с работы. Туда-сюда. В милицию. Не знаем, говорят. Потом приходил один, в штатском, все расспрашивал меня, расспрашивал о нем. Видит, что я о нем кроме имя-отчества Константин Всеволодович да фамилии Вельяминов ничего не знаю, отстал. Только сказал напоследок, не ищите, мол, своего Константи-на Всеволодовича Вельяминова. Не увидите его больше. Я и не стала больше искать и расспрашивать. Воды в рот набрала. Хорошо, что детей не успели завести.

Мария Петровна вздохнула тяжело и замолчала.

— Так что ж твой Грегор, жениться на тебе хочет или просто так будет ходить? — спросила она после долгого молчания.

— Что вы, Мария Петровна! — удивилась Фима

— А чего ты перепугалась. Если предложит, если любишь, выходи. Первую любовь бросать нельзя. А там видно будет. Только не выставляйся с ним. Не дразни гусей. Трудно тебе будет, девонька, но зато сладко.

Мария Петровна встала из-за стола, подошла к Фиме взяла ее за плечи сильной своей рукой и крепко прижала к пышной груди.

— Иди поешь, обеденный перерыв кончается. О том, что тебе про себя рассказывала, — никому, слышишь?

— Что вы, Мария Петровна, — сказала Фима, еще не веря во все услышанное.

* * *

Узнала о дружбе сестры с иностранцем и Пелагия, когда вернулась с мужем из отпуска. В общежитии все узнается быстро. Ничего не утаишь. На общей кухне соседки нажужжали в уши Пелагии и то, что было, и то, чего не было с ее сестрой Фимой.

— Ты чего это удумала, сестренка? — еле сдерживая гнев, спросила Пелагия уже на другой день по приезде. — У нас в родне такого не было, чтобы с иностранцами гулять. Что, своих парней не хватает что ли? Был бы жив отец, он бы тебе накрутил хвоста. Повадился ходить каждый день, с чего бы это?

— Да не каждый день, — сначала слабо возразила Фима. Но по мере того, как Пелагия распалялась и говорила все громче и обидней, Фима переставала бояться старшей сестры, видя, что в ее словах мало справедливости, что она, Фима, не сделала и не делает ничего плохого. И что Грегор не делает ей ничего плохого. И вообще, зачем вмешиваться в ее, Фимину, жизнь? Она уже взрослая. Двадцать лет. Своя голова на плечах. Разберется как-нибудь. Да, Грегор иностранец. Но она теперь точно знает, что он хороший, добрый человек. Что он, как родной. Что даже Лизка его признает.

— Ты его не знаешь, — сказала Фима сестре.

— Ты его знаешь?! Когда только успела.

Сама Пелагия выскочила замуж за своего Ивана через неделю после знакомства.

Фима не стала обижать сестру напоминанием об этом. Хотела, но сдержалась. Правда, Иван не иностранец, да и родом из соседней деревни. Не чужой. Разница между Иваном и Грегором большая. Фима это понимала. Но и отказываться так легко от Грегора она не хотела. Произнести слово «любовь» она стеснялась. Было не принято так говорить. Особенно девке. Парни говорили — «жалеть», что означало, «любить». «Я ее жалею», означало, «я ее люблю». Сказать сестре, что любит Грегора, язык не поворачивался. Она и сама еще толком не знала, любит ли его. Видеть его хотела уже каждый день. «Это любовь? Слово какое странное», — думала Фима.

Пелагия тем временем распялялась все больше.

— Ты, небось, думаешь, замуж тебя возьмет. За границу увезет. Сейчас. Только об этом и думает. Погуляет и бросит. Обрюхатит еще, глядишь. Ты, что знаешь, он, может, женат? Там у него, — Пелагия махнула рукой, что должно обозначать — где-то там, далеко, — жена и дети есть. А ты — хвост набок.

От этих слов Фима покраснела. Не от гнева, от стыда. Она знала, что «хвост набок» означает — девка на все согласна. Фима даже представить себе не могла, что между нею и Грегором могло быть что-то подобное. Разве с иностранцами *такое* возможно. Получалось, что возможно. Эта мысль испугала и удивила ее одновременно.

— Смотри, Фимка, в комсомол твой пойду. Не дам сестру опозорить. До партии дойду, все расскажу. Вот увидишь. Твоему иностранцу тоже достанется. Будет знать, как русских девок портить!

Фиму позабавило, что Пелагия, не признававшая никаких «комсомолов» и «партий», по-деревенски набожная, и одновременно озорная, острая на язык, вдруг вспомнила и про партию, и про комсомол. Если «в партию», то значит к Марии Петровне. «Интересно, как та ее встретит? Даже забавно», — подумала Фима. А вот слова о том, что «иностранцу достанется», испугали ее сильно. Здесь был и страх за Грегора, и стыд за сестру, которая пойдет скандалить перед чужими людьми. Страх за Грегора пересиливал стыд за сестру.

— Поль, а может, это судьба? — тихо сказала Фима. Она знала, что старшая сестра верит в судьбу. Верит в Бога. Верит в карты. Гадала, прежде чем выйти за Ивана. Фима решила сыграть на этом. Она знала, что переспорить Пелагию ее же словами — что «не обрюхатит», что вовсе и не собиралась она делать «хвост набок», что уверена, что у Грегора «там» никого нет — дело бесполезное. Если уж сестра переходит на крик, ее не перекричишь. Пока не выкричится, не остановится.

В самом деле, слова Фимы о «судьбе» произвели на старшую сестру должное впечатление.

Пелагия на время замолчала.

Ее рыжая голова склонилась на бок, и она долгим задумчивым взглядом посмотрела на сестру.

— Да, отец не даром тебя Ефимией назвал. Говорил, что у тебя будет особая судьба. Нас всех кого как назвал, а тебя Ефимией велел наречь. Фекле, свояченице, когда посылал быть твоей крестной, наказывал не забыть, какое имя тебе дать. Особая ты у нас. Мы все рыжие да русые, а ты одна у нас черная. В кого? Папаня не удивился, когда увидел, что волос у тебя черный. Сказал, что это Бог тебя отметил, как особенную.

— Ты, небось, не помнишь отца, — продолжала Пелагия. — Он тифом умер. Тебе пять годков всего было. Мать в положении Лизкой была. А он помер. Четверо нас осталось тогда. Гриша, помнишь, старший брат через месяц тоже умер от тифа. Тиф тогда был страшный. А потом у всех нас оспа была. Ты за нами ходила, мы все в лежку были, и сама заболела. Слава Богу, все выздоровели. А рябая только ты осталась, лицом. Бог тебя отметил — особенная. Может, и в самом деле у тебя особая судьба, Фимка.

На глазах у Пелагии показались слезы.

— Жалко мне тебя почему-то, сеструха. Пусть он и хороший человек, да иностранец. Не нашей веры. Как зовут, знаешь?

— Грегор.

— Григорий, что ли? Вроде как по-нашему. Старый?

Фима не знала, сколько Грегору лет. На вид он был молодой. Но взгляд умных внимательных глаз, рассудительность и сдержанность делали его, в глазах Фимы, взрослее, чем он был на самом деле.

— Нет, молодой, но, наверное, старше меня. Не намного,— поспешно добавила она.

— Это хорошо. Старые, которые за молодыми девками бегают, развратники все...

— Он тебя замуж звал? — после паузы спросила Пелагия.— Предлагал пожениться? — пояснила она, видя, что сестра не понимает, о чем ее спрашивают.

Фима не была готова к такому вопросу. Ей казалось, что дружба с Грегором может продолжаться долго и не обязательно закончится женитьбой. Теперь после слов Пелагии о женитьбе она поняла, что такое возможно. Как быть, если Грегор предложит выйти за него замуж? А если не предложит? Что сказать сестре?

Фима молчала.

— Значит, не предлагал,— резонно заключила Пелагия.

На глазах Пелагии снова появились слезы.

Заплакала и Фима.

Обнявшимися и плачущими застала их Лиза. Как всегда стремительно, она вошла в комнату, размахивая новеньким портфелем, который недавно ей подарил Грегор по случаю шестнадцатилетия, и с которым она теперь ходила в ФЗУ при заводе «Красный пролетарий», вызывая зависть подруг.

— Так, ревем,— энергично констатировала она.— По какому случаю? Кто-нибудь умер? Ваня ушел от Поли? Грегор уехал за границу, оставив Фиму с разбитым сердцем?

— Типун тебе на язык,— сказала Пелагия, вытирая слезы.

— Тогда у Поли украли кошелек,— не унималась Лиза.

— Хватит болтать, сорока. Ставь чай. Голодная, небось,— сказала Пелагия.

Фима тоже утерла слезы и улыбнулась. Она любила сестер. Они были дружны. Одни, без старших, в большом чужом городе, они крепко держались друг за друга.

Сестры уселись вокруг тумбочки, накрытой полотенцем, и не торопясь, по-деревенски — не по одной чашке — пили чай, обсуждая свои планы.

Пелагия с Иваном, как семейные, съедут, так как скоро получат отдельную комнату. Фима с Лизаветой останутся в этой комнате, где сейчас живут. Если Фима выйдет замуж, здесь Лиза хитро, заговорщицки, посмотрела на среднюю сестру, то ей, Лизе, дадут место в общежитии для молодых работниц. Придется приписать два года, как делала в свое время Фима, чтобы оформили на работу, как взрослую. Это сделать не трудно. Сейчас многие так делают, приезжающие из деревни в Москву в поисках работы. Сестры хотели, чтобы младшая училась дальше, «вышла в люди». Они помогут. Но у младшей, Лизаветы, еще ветер в голове. Ничего. Это пройдет, когда «жареный петух клюнет...».

— А если не клюнет? — поинтересовалась Лиза.

— Клюнет,— уверенно сказала Пелагия,— непременно клюнет. Без этого не бывает.

* * *

Разговоры с Марией Петровной и с Пелагией что-то изменили в отношении Фимы к Грегору. Поначалу визиты иностранца приводили ее в замешательство. Она не понимала, зачем он приходит, что ему от нее надо. Пыталась даже избегать встреч с

ним. А потом привыкла. Если он не являлся несколько дней, скучала. Разрыв с Павлом Ивановичем, бригадиром Пашей, подтолкнул ее к Грегору. Болезнь Лизки и участие, которое Грегор с такой охотой и вниманием проявил, сделали его из чужого иностранца близким и понятным человеком.

Теперь же Фиме хотелось увидеть в поведении и поступках Грегора признаки того, что называется любовью. Да, он вежлив, внимателен, предложит руку, когда она выходит из трамвая, поможет надеть пальто. С ним интересно. Он много знает. Всегда стремится ее развлечь, чтобы ей не было скучно с ним. А ей и в самом деле никогда не было скучно с ним. Ну, а любовь!? Где доказательства того, что он ее любит, а не просто от нечего делать проводит время с русской девушкой или, еще хуже, изучает ее как представительницу рабочего класса советской России?

От этой мысли Фиме стало не по себе. Неужели такое возможно!? И права Поля?

Нет. Фима была уверена, что это не так. Грегор любит ее. Он просто боится явно высказывать это. Он боится неловким поступком или неосторожным словом все испортить. Он думает, что она, Фима, сразу его оттолкнет, и все оборвется, но это не так. Теперь она не оттолкнет его.

После разговоров с Марией Петровной и Пелагеей, она хотела, чтобы Грегор не боялся. Чтобы он более явно выказал свою любовь. Чтобы у нее не было никаких сомнений. Чтобы она уверенно могла смотреть в глаза и Марии Петровне и своей старшей сестре.

Только один раз Фима почувствовала, что Грегор не просто внимателен и вежлив с ней. Всего один раз он не сдержался. Тогда она не поняла его порыва. Сейчас же вспоминая о нем, она понимала, что это и есть признак того, что называется любовью парня к девушке.

В Большом театре на опере «Кармен» Грегор не отпускал ее руку весь спектакль. Он не сводил глаз со сцены. Только время от времени, в местах оперы, производивших на него особо сильное впечатление, он сверкающими глазами взглядывал на Фиму, как бы приглашая ее разделить с ним его восхищение.

На Фиму же самое сильное впечатление произвел сверкающий золотом огромный театр. Она не подозревала, что могут быть такие огромные помещения. Даже их сборочный цех на заводе был меньше. Украдкой от Грегора она отрывала взгляд от сцены и, подняв голову, разглядывала огромную люстру, висевшую над ее головой, картинки, нарисованные на потолке. Сама же опера ее мало взволновала. Слов она не разбирала, и что происходит на сцене, долго оставалось ей непонятным. Финальная сцена вообще показалась ей дикой. Как это можно, убить девушку, которую любишь. Грегора же трясло, как в лихорадке. Никогда она не видела его таким возбужденным и восхищенным. Его смуглое лицо стало еще смуглее, а широкие ноздри раздувались как у породистого коня.

После спектакля, провожая ее домой, он, все еще возбужденный, стремительно говорил, путая русские и иностранные слова, о композиторе Бизе, об Испании, о корриде — «борьбе с быком», о том, что любовь способна на все.

— Ты понимаешь, Фима, он, Хосе, дал ей все, свою карьеру, свою жизнь. А Кармен ушла с другим мужчиной!

— Убивать человека нехорошо,— спокойно возразила Фима.

— Я не знаю, как это сказать по-русски,— воскликнул Грегор. — Но так иногда может быть.

У дверей ее общежития Грегор не смог сдержаться. Он порывисто обнял Фиму, крепко сжал ее в своих руках и долгим поцелуем поцеловал в губы.

Тогда Фима больше испугалась, чем испытала удовольствие от того поцелуя.

Теперь же, когда она вспоминала о нем, никогда не испытанное ранее волнение и жар разливались по ее телу, хотя с того вечера прошло много дней.

Значит, он меня любит, наконец, решила Фима.

Такие порывы, правда, больше не повторялись. Оставаясь внимательным и вежливым, Грегор не позволял себе их. Но Фима уже хотела, чтобы они были еще. Раз Мария Петровна и Пелагия считают, что между ней, Фимой, и Грегором, несмотря на то, что он иностранец, может быть любовь и даже женитьба, чего же бояться. Фима чувствовала теперь большое облегчение. Дружить с Грегором можно. Можно даже любить его! И можно даже выйти за него замуж.

Дело теперь было за Грегором.

* * *

Любовь не входила в планы Грегора. Он приехал из-за океана помогать советской России строить новую жизнь. Работал в Коминтерне, на московском радио, вешавшем на Соединенные Штаты и Латинскую Америку. Ездил с иностранными рабочими делегациями по заводам Москвы и других городов в качестве переводчика. Иногда выступал в заводских клубах сам с рассказами о том, как трудно живется рабочему классу в странах капитала. Работы было много. Работал увлеченно. Неудобства в общежитии для сотрудников Коминтерна не тяготили его. Ему нравился спартанский образ жизни, который он вел. Считал, что чем труднее, тем лучше. Надо закалить свой характер и волю для успешной работы на благо пролетариата. Правда, сотрудники Коминтерна были прикреплены к специальному магазину, где по талонам можно было получить приличную одежду, обувь, еду. Он еще не пользовался талонами. Считал, что это зазорно для настоящего коммуниста. Коммунист должен жить, как все. Иначе ему не поверят. Донашивал то, в чем приехал в Россию. Когда в общежитии появились семейные пары — иностранные коммунисты стали жениться на русских девушках, лучшим подарком молодоженам были эти самые льготные талоны. Далеко не все, приехавшие в Россию коммунисты, были из обеспеченных семей, как он. Грегор охотно расставался с талонами. В общежитии знали об этом и к Грегору обращались часто.

Больше всего интерес в нем вызывала жизнь русских людей. Русского пролетариата. Для радио он брал интервью у рабочих, ездил по фабрикам и заводам с блокнотом и фотокамерой. Чем пристальней он всматривался в новую русскую жизнь, в новых русских людей, тем противоречивее становились его впечатления о них, их жизни. Его поражала разница между тем, что говорится на митингах и собраниях, особенно по случаю встречи с иностранными делегациями, и тем, что говорили ему интервьюируемые им рабочие. Их интересы были узки, ограничивались их семьей, заработком. Часто они были нетрезвы. Просили не записывать то, что они ему говорили. «Предстоит большая работа по перевоспитанию рабочего класса. Двадцать лет после революции это не срок для истории», — утешал себя молодой заокеанский коммунист.

Поражала его также и жесткость, и даже жестокость новой власти. Казалось, чужие люди пришли в эту страну и, не спрашивая граждан ее, делают, что хотят. Делают грубо, не интересуясь их мнением. Объяснения этому он еще не нашел. «Видимо, простые люди, рабочие и крестьяне, взявшие власть, еще не знают, как властью пользоваться», — размышлял он. — Кто научит их?» Ответ на этот вопрос он не знал.

Он лихорадочно записывал свои наблюдения и размышления. Кипы бумаг росли на его письменном столе в тесной комнате Коминтерновского общежития.

И вот среди этой работы и напряженных размышлений о русских рабочих и новой советской России в его жизнь вошла Фима. Грегор был честен перед самим собой. Сначала Фима, обратившая на себя его внимание лишь внешним сходством с девушками его родной страны, интересовала его только как образчик еще мало знакомого ему русского пролетариата. Но очень скоро он неожиданно для себя поддался ее обая-

нию. В ней не было резкости и избыточной энергичности, так свойственной девушкам его страны. Его привлекала естественная, без жеманства, женственность Фимы. Его особенно поразило отсутствие вульгарности в ее поведении. Это больше всего он не любил в женщинах. Девушка из очень простой среды, как он догадывался, Фима была сдержана в словах и поступках, словно получила хорошее воспитание. Она была восприимчива. Он с удивлением отметил, что Фима скоро научилась прямо, не сутулясь, сидеть за столиком в кафе и маленькими глотками беззвучно отпивать из чашечки кофе. Она быстро привыкла идти с ним в ногу, когда они шли рядом рука об руку.

Грегор внятно не мог сам себе объяснить возникшее чувство. Очень скоро встречи с этой девушкой стали для него необходимостью. Он оправдывал свое увлечение тем, что и другие молодые товарищи из Коминтерновского его окружения обзавелись русскими подругами, а некоторые женились на них. Мысль о женитьбе на Фиме посещала и Грегора.

Однако поступить скоропалительно и необдуманно он не мог. Надо все проанализировать и принять взвешенное решение. Фима молода. Возможно, она ответит согласием. Но какой груз ответственности он взвалит на себя. Где они будут жить? Хватит ли его дохода для того, чтобы содержать семью? На помощь отца рассчитывать невозможно.

При мысли об отце мурашки побежали у него по коже. Грегор, католик по рождению, хоть и атеист теперь, не мог себе представить женитьбы без благословения и согласия родителей. Помолвка. Объявление в газете. Обручальные кольца. Или здесь, в советской России, можно обойтись без этой буржуазной мишуры?

Это не самое страшное. В какую ярость придет отец, узнав о его женитьбе?! Вообразить трудно. А написать об этом придется. Известный адвокат в городе, собственная контора, уважаемое семейство. Мало того, что сын, подававший такие большие надежды, будущий преемник в деле, сбежал в Россию, в этот вертеп коммунизма и безбожия. Он еще нашел себе там жену. Кого? Тоже коммунистку!? Это выше всякого понимания. Это абсурд какой-то! Господин Майкот старший наверняка не найдет приличных слов, чтобы выразить свое негодование.

Что делать? — размышлял Грегор.— Пренебречь мнением отца, репутацией семьи? Возможно, когда-нибудь придется вернуться на родину. Или он на всю жизнь останется в России?

Но и это не главное. Он выбрал свою дорогу и будет по ней идти. Его страшило другое. И страшило по-настоящему. Наблюдательность и привычка анализировать убеждали его в том, что в России не все благополучно. Он уже год здесь. Настороженное отношение к иностранцам постепенно приобретало оттенок враждебности. Слова «солидарность рабочих», «братство народов мира» громко звучали только на митингах и собраниях, на встречах с иностранными делегациями. В реальной жизни коминтерновцы чувствовали себя довольно изолированными. Дружба с простыми людьми не завязывалась. Простые люди их сторонились. Да и русские коммунисты только похлопывают по плечу. Этим их дружеские чувства к братьям-коммунистам из других стран и ограничивались. В такой атмосфере жить трудно. А жить семьей будет, наверное, еще труднее. Это только в русском фильме белую американку, родившую от негра, чествуют как героиню. В реальной русской жизни по-другому.

Среди коминтерновцев чувствуется какая-то напряженность. Искренности и открытости между ними уже нет. На внутривнутриполитические темы страны пребывания стараются не говорить. О международном рабочем движении говорить еще можно. Что будет с этой страной? Что будет с ним? С Фимой? С их семьей, если она возникнет?

Приход Фимы разрушил его мрачные мысли.

Он дал ей адрес своего общежития. Оно располагалось недалеко от Донской улицы, где жила Фима, у Калужской заставы. Теперь иногда заходила за ним она, чтобы

вместе отправиться куда-нибудь погулять. После разговоров с Марией Петровной и Пелагией Фима стала посмелее. На приглашение посмотреть, как он живет, она согласилась без колебания и боязни. Ей показалось это естественным: раз он, Грегор, ходит к ней в дом, почему ей, Фиме, не побывать у него. В первый раз ее удивила скромность его жилища. Она думала, что иностранцы живут богато. Поразило ее также множество книг, газет и бумаг на столе и на полу. «Ты все это читал?» — спросила она тогда. «Это моя работа»,— ответил он. «Работа!?» - удивилась Фима. У нее было другое представление о том, что такое «работа». «Да, мой милый пролетарий, работа»,— обнимая ее, ответил он.

— Как хорошо, что ты пришла,— сказал Грегор. Он усадил ее на стул, сам сел напротив нее и взял ее руки в свои.— Ты не знаешь, как хорошо, что ты пришла.

Он поцеловал ее руки. Он целовал ее руки не потому, что так было принято в буржуазной среде, из которой он происходил. Он и Фиме так объяснил, когда она спросила, зачем он это делает. А потому, сказал он, что впервые держит в своих руках женские руки, которые делают тяжелую мужскую работу.

— Мы будем пить кофе и кушать мармелад. А потом пойдем гулять. Будем гулять долго,— сказал он.

— Ты чем-то расстроен? — спросила Фима. Она теперь легко угадывала его настроение.

— «Расстроен» это что? — спросил в свою очередь Грегор, не понимая точного значения этого слова применительно к человеку.

— У тебя несчастье? — пояснила Фима.

— Нет. У меня счастье,— сказал Грегор.

* * *

В тот вечер Фима с трудом узнавала Грегора.

Они перешли Большую Калужскую улицу и спустились в Нескучный сад.

— Вначале пойдем в ресторан.

— Это дорого,— сказала Фима. Она знала, что у Грегора денег немного. Деньгами он не сорил. В рестораны они не ходили.

— Это не так дорого, как ты,— ответил Грегор. — Ты самая дорогая,

Когда Грегор был взволнован, в его русской речи было особенно много ошибок. Фима это знала.

Они пришли в небольшой летний ресторан и сели за столик на двоих.

Уверенным жестом Грегор подозвал официанта и спросил меню. Когда меню было получено, он подвинул его Фиме и предложил ей сделать заказ.

Фима склонилась над листком бумаги, вложенным в глянцевою картонку. Пробежав глазами меню, она ничего в нем не поняла, ее испугали цены, проставленные напротив названий блюд и вин, и она отодвинула меню Грегору.

— Заказывай сам,— сказала она.

Сделав заказ, Грегор попросил официанта принести пачку папирос «Казбек».

Фима впервые видела Грегора курящим.

Они сидели за столиком друг против друга. Грегор положил свою руку на руку Фимы. Он мелкими затяжками курил папиросу и не сводил с нее глаз.

Фима вопросительно посмотрела на него. Поправила прическу, одернула блузу. Она думала, что с ней что-то не так, и поэтому Грегор так пристально на нее смотрит. Взглянув после этого на Грегора, она увидела, что он смотрит на нее с нежностью. Она успокоилась и принялась рассматривать ресторан.

Принесли заказ. Самое большое впечатление на Фиму произвела бутылка вина с иностранной надписью на этикетке. Она возвышалась над подносом в окружении тарелок с едой, которую Фима видела впервые в своей жизни.

Фима делала все, как делал Грегор. Положила салфетку себе на колени. Взяла те же вилки и ножи, какие взял он. Она уже не боялась сделать что-нибудь не так в его присутствии. Пугала ее только перспектива выпить с Грегором целую бутылку вина.

Грегор налил в высокие бокалы темное с красным отливом вино.

— За счастье. За тебя и меня,— сказал он, подвинул свой бокал к бокалу Фимы и легонько коснулся его своим.

Он поднял бокал и стал мелкими глотками отпивать вино. Фима делала то же.

Они смотрели поверх бокалов друг на друга. Во взгляде Фимы было удивление и почти детская радость. Грегор смотрел на Фиму с нежностью.

Вино и присутствие Фимы развеяли его мрачные мысли. Будущее переставало казаться неопределенным и тревожным. «Все образуется,— думал он. - Вино перебродит и начнется нормальная цивилизованная жизнь новых людей в новой стране. Мы будем счастливы. Будут счастливыми наши дети, которые родятся у нас с Фимой. Отец простит меня, когда узнает, что у него появились внуки. Я единственный сын. Он считает меня продолжателем славного рода Майкотов. Может быть, даже приедет в Россию взглянуть на них».

— О чем ты думаешь? — спросила Фима.

— О тебе,— просто ответил Грегор.— Ты красивая, Фима. Ты родишь красивых детей.

Фима не смутилась.

— Ты это серьезно или смеешься надо мной?

Она уже разговаривала с ним на равных. Не чувствовала разницы между ним и собой. Слова о детях не показались ей неожиданными. «Наверное, мы все-таки поженимся,— подумала она,— и у нас будут дети».

— Я не знаю, что значит — «смеешься надо мной». Я буду смеяться вместе с тобой,— ответил Грегор, широко улыбаясь.

Они рассмеялись.

Фима раскраснелась от выпитого вина. Глаза ее блестели. Она смеялась счастливым смехом. Грегор не сводил с нее глаз. Он любовался ею.

Когда их трапеза закончилась, Фима подумала, что они погуляют еще по Нескучному саду, прежде чем разойтись по домам. Но Грегор, пропуская ее вперед по проходу между столиками, шепнул ей на ухо — «потанцуем?».

В ресторане, который они покидали, не танцевали. Он был небольшой и открытый, летний.

— Где? — заговорщицки спросила Фима.

Голова ее слегка кружилась. Ей было весело. Она хотела, чтобы это их свидание с Грегором продолжалось и продолжалось, и никогда не кончалось, и чтобы все время было так же весело и легко, как в эту минуту.

Стемнело, пока они были в ресторане. По горящим гирляндам разноцветных лампочек и звукам музыки, доносившимся из темноты, они сориентировались, где искать танцевальную площадку.

Грегор купил билеты, и они ступили на дощатый настил.

Площадка была окружена высоким решетчатым забором, на котором виснули ребятишки, любимым занятием которых было разглядывать танцующие пары и отпускать в их адрес разнообразные комментарии. На возвышении сидел оркестрик из трех музыкантов — баян, гитара и контрабас. Шаркая ногами по доскам, топтались в обнимку парни с девушками, девушки с девушками и парни с парнями. Среди них были нетрезвые.

Грегор обнял Фиму за талию. Он провел ее на середину площадки и они начали танцевать, не дожидаясь начала очередного танца.

Грегор танцевал умело. Он вел Фиму. Он кружил ее, отпускал от себя на вытянутую руку и энергичным движением привлекал к себе, крупными скользящими шагами наступал на нее и неожиданно застыл вместе с ней на мгновение, от чего Фима отки-

дывалась назад, крепко удерживаемая Грегором за талию. Фима танцевала мало и потому была неуверенной в танце. Но в руках Грегора у нее все получалось. Они быстро скользили между танцующими на одном месте парами, излучая энергию и динамизм.

Заиграли медленный танец. Грегор обнял Фиму и прижал к себе. Они покачивались в танце, обнявшись, переступая мелкими шажками.

Так здесь не танцевали. На них стали обращать внимание.

Кто-то толкнул Грегора в спину.

— Извините,— сказал Грегор, обернувшись, не переставая танцевать.

Толчок последовал снова.

Грегор и Фима остановились. Перед ними стоял, покачиваясь на нетвердых ногах, мужчина.

— Не извиняю,— выдохнул он им в лицо тяжелый водочный дух.

Грегор отвел Фиму на несколько шагов, и они продолжили танец. Пьяный, протискиваясь между танцующими, направился за ними.

— Понаехали тут всякие и крутят с нашими девками шуры-муры. Отстань от нее. Слышь, ты.

— Не обращай на него внимания,— сказала Грегору Фима. — Он пьяный. Давай уйдем отсюда.

Мужчина схватил Грегора за руку и стал оттащить от Фимы.

И тут произошло то, чего она никак не ожидала. Грегор улыбнулся ей, мягким движением высвободился из ее рук и подошел к пьяному мужику. Взял его за ворот рубахи, оттащил в сторону. Потом он что-то негромко сказал ему на ухо и отпустил. Тот покачнулся, но устоял. Когда Грегор шел к Фиме, пьяный мужик говорил ему вдогонку — «прости, друг, обознался, слышь».

Они продолжили танец.

— Что ты сказал ему? — спросила Фима, удивленно глядя на Грегора.

— Я сказал ему русский мат,— смеясь, ответил Грегор.— Он меня хорошо понял.

— Откуда ты знаешь русский мат?

— Дорогая, я работаю с пролетариатом.

Грегор был по-прежнему весел и энергичен. Уверенность в себе виделась в каждом его движении и выражении смуглого лица.

Но у Фимы настроение упало.

— Уйдем отсюда,— сказала она.

— Нет, мы будем танцевать,— ответил Грегор.

Через полчаса они ушли с танцплощадки.

В тускло освещенном подъезде Фиминого общежития Грегор задержал Фиму в своих объятьях.

— Выходи за меня замуж,— сказал он. В этой русской фразе не было ни одной ошибки. Он приготовил ее заранее.

— Хорошо,— сказала Фима.

Между их фразами не было паузы. Ответ последовал сразу. Сказан он был не девичьим голосом, а голосом женщины, нежно и уверенно.

Грегор с облегчением вздохнул.

Когда Фима поднялась в свою комнату, Лиза еще не спала.

— Гуляла с Грегором,— не вопросительно, а утвердительно сказала Лиза.

— Я выхожу за него замуж,— ответила Фима.

— Вот это да-а! Фимка, что будет!?

— Сама еще не знаю. Он просил. Я сказала — хорошо.

Лиза крепко обняла Фиму и поцеловала.

Что это было — одобрение или жест отчаяния, Фима не знала.

Для нее начиналась новая жизнь.

(Продолжение следует)

Геннадий Маркин
(г. Щекино)



В ГОРОДЕ

Иван Алексеевич Малышкин город не любил. Ему не нравились шумные городские улицы с их однотипными многоэтажками. Он терпеть не мог гудящие, ревушие и несущиеся мимо него автомобили. Он не любил ходить по городским тротуарам с вечно спешащими и толкающимися пешеходами, боялся спускаться в подземные переходы, где у него всегда попрошайничали неряшливые уличные музыканты и бродяги. Короче говоря, город Ивану Алексеевичу Малышкину был чужд. То ли дело его родная деревня Косолаповка с ее яблоневыми садами, стылыми родниковыми водами, лиственным лесом и прохладными утренними туманами над тихой речкой Кукуевкой. В Косолаповке Иван Алексеевич родился, из Косолаповки он уходил служить в Армию. Здесь же в косолаповских яблоневых садах он вкусил сладость первого поцелуя, женился, воспитал детей, дождался внуков, а затем скромно под домашнему отметил выход на заслуженный отдых. В общем, Косолаповка для Ивана Алексеевича была и оставалась частью его жизни. Он и в этот раз не поехал бы в город, если бы его не заставили это сделать сложившиеся жизненные обстоятельства.

Отдав родному колхозу лучшие годы своей жизни, свой опят, силы и здоровье Иван Алексеевич являлся инвалидом второй группы, что было неплохим денежным подспорьем для его небольшой пенсии колхозника. Но недавно решением врачебной комиссии районной медико-социальной экспертизы вторая группа инвалидности ему была заменена третьей, что сразу же отразилось на его пенсии. Иван Алексеевич по этому поводу написал несколько жалоб, но ответа на них не было. Решив для себя, что его жалобы не дошли до адресата и завалились где-нибудь на почте, он принял решение жалобу отвезти лично и передать ее как говорится из рук в руки. Зайдя предварительно в местное отделение почтовой связи, и высказав работникам почты все, что он о них думал, не придерживаясь при этом общепринятых норм поведения и не заботясь о культуре речи, Малышкин выехал в областной центр.

В приемной, куда вошел Иван Алексеевич, за столом сидела секретарша и пила чай.

— Извините за то, что отвлекаю, но я хотел бы главному врачу жалобу отдать,— немного смущаясь, проговорил Малышкин.

— Жалобы отправляйте почтой,— проговорила секретарша, даже не взглянув на протянутый ей лист бумаги.

— Я отправлял жалобу почтой, но мне никто ничего не ответил,— пояснил секретарше Иван Алексеевич.

— Если отправляли, значит, вам обязательно ответят. Ждите,— равнодушно ответила секретарша и, откусив кусок от бутерброда, запила его чаем.

— Мои жалобы остаются на нашей почте, их не отправляют, поэтому я сам привез к вам жалобу,— произнес Иван Алексеевич в тот самый момент, когда секретарша прожевала пищу и еще раз хотела откусить от бутерброда.

— Мужчина, вы мне работать не даете,— недовольно проговорила она, отводя в

сторону руку с бутербродом.— Я же вам русским языком говорю о том, что жалобы, заявления и предложения направляйте почтой,— повысила она голос.

— Я вам тоже русским языком говорю, что мои жалобы остаются на почте, их не отправляют. А работать я вам даю, я же не отнимаю у вас булку с маслом,— тоже повысил голос Иван Алексеевич.

Секретарша перестала есть и злобно взглянула на Малышкина. Ее глаза сузились и стали похожи на глаза кошки приготовившейся к прыжку. Иван Алексеевич тоже своим взглядом впился в ее глаза, и в приемной наступила напряженная тишина, которую нарушил вышедший из кабинета с надписью «Руководитель главный эксперт» небольшого роста худощавый мужчина в очках.

— Товарищ начальник,— преградил ему дорогу Малышкин,— выслушайте меня, а то она меня слушать не хочет,— указал он рукой на секретаршу.

— В чем дело, вы кто такой? — спросил мужчина у Малышкина, а затем перевел взгляд на секретаршу.

— Он жалобу принес. Я ему объясняю, что бы он ее по почте прислал, а он... ненормальный какой-то,— сделав удивленное лицо, ответила секретарша.

— Это я — ненормальный? — возмущенно переспросил Иван Алексеевич.— Да я почетный колхозник, пенсионер, ветеран труда,— начал перечислять Малышкин свои звания,— это ты — ненормальная!

— Успокойтесь, пожалуйста, и говорите, я вас слушаю,— дружелюбно проговорил мужчина.

— Вот я и говорю ей, что только с вами теперь буду разговаривать, а не с ней,— еще не совсем успокоившись, заговорил Иван Алексеевич.— Я колхозник, пенсионер. Фамилия моя — Малышкин, а зовут Иваном Алексеевичем. Товарищ начальник, мне вторую группу инвалидности сняли, а дали третью. Это как же так получается? Я всю жизнь в колхозе отработал, меня бык колхозный, бугай, бодал, все ребра мне переломал, насилие я от него вырвался, а теперь мне вместо благодарности — третью группу и живи, как хочешь? А пенсия? Разве это пенсия? Разве можно нормально прожить на три тысячи рублей? И эту кровную мою пенсию теперча дербанить начали. Да нас бывших колхозников во всей Косолаповке всего трое осталось Я, бабка моя, да Маруська — доярка...

— Хорошо, хорошо, я вас понял,— перебил его мужчина.— Надежда Александровна примите у товарища жалобу, зарегистрируйте и передайте мне лично,— сказал он секретарше и направился к выходу из приемной.

— А Маруська — доярка живет побогаче, чем мы с бабкой моей,— идя следом за мужчиной продолжать говорить Малышкин. — Самогонкой потому что торгует. В последнее время совсем обнаглела, начала самогонку водой разбавлять. Вот у кого надо пенсию раздербанить, а не у меня,— продолжал говорить Малышкин, хотя мужчина уже вышел из приемной.

Секретарша, которую звали Надеждой Александровной, выражая недовольство, отложила в сторону недоеденный бутерброд, отставила чашку с чаем и взяла у Малышкина жалобу.

— Ходят все и ходят, только работать мешают. И что вам всем тут надо? — вопль сказала секретарша, делая запись в регистрационный журнал.

Прежде чем отправиться в свою деревню Косолаповку, Иван Алексеевич пошел в универмаг, чтобы купить внуку Мишке наушники для аудиоплеера. Наушники Мишка просил не простые, а с колесиком для регулятора громкости звука точно такие же, как были у его друга Витьки. Подойдя к зданию универмага, Иван Алексеевич остановился в нерешительности, увидев перед собой вместо привычного кирпичного двухэтажного строения, новое здание, отделанное белым пластиком с темными зеркальными окнами современного торгового центра. Походив несколько раз туда и об-

ратно через автоматически открывающиеся двери, Малышкин вошел в огромный мраморный вестибюль и нашел нужный ему отдел. За прилавком стояла молоденькая продавщица, одетая в белую рубашку и синие джинсы. На ее шее красовалась золотая цепочка с кулоном, на пальцах рук были надеты перстни и кольца, в ушах переливались огнями золотые с изумрудными камнями серьги, а завершал драгоценные украшения маленький пирсинг, который красовался над ее верхней губой. Безразлично смотря куда-то вдаль, продавщица жевала жевательную резинку. «Должно быть, дочка каких-нибудь богатых родителей, вот только, видать, неряшливая — семечки лузгает, а очистка к губе прилипла,— подумал Иван Алексеевич, приняв пирсинг за очистку от семени подсолнуха.

— Что вам? — спросила продавщица, не переставая жевать.

— Дочка, мне нужны наушники, но такие, на которых можно громкость колесиком регулировать,— сказал Малышкин.

— Это как? — после недолгого молчания спросила продавщица и, перестав жевать, удивленно посмотрела на Ивана Алексеевича.

— Как же тебе объяснить-то получше? — задумчиво проговорил Малышкин. — Понимаешь, дочка, есть такие наушники, у которых имеется колесико для регулятора громкости.

— Вы что? — засмеялась продавщица и вновь начала жевать жевательную резинку.— Таких наушников не бывает, вы меня, наверное, разыгрываете?

— Ну, как же так не бывает? Очень даже бывает,— удивился Малышкин неосведомленности молоденькой продавщицы. — Вот у Витьки, друга моего внука Мишки, имеются такие наушники.

— Ну, я даже не знаю,— нерешительно произнесла продавщица,— сейчас посмотрю.

Она взяла табурет, пододвинула его к полке с товаром и влезла на него, при этом Иван Алексеевич обратил внимание, что джинсы у нее на коленях рваные и одеты очень низко из-за чего была видна верхняя часть ее ягодиц. Смутьившись, Иван Алексеевич отвел взгляд в сторону. «Надо же на пальцах кольца золотые носит, а портки себе новые купить не может. Одно слово — неряха!» — вновь подумал он.

— Может быть, такие наушники вам нужны? — спросила продавщица, протягивая Ивану Алексеевичу небольшую коробочку.

— А колесико на них имеется? — спросил Иван Алексеевич.

— А я почему знаю? — вновь пожала плечами продавщица.— Нам товар распаковывать не разрешают.

— А как узнать-то? — спросил Иван Алексеевич.

— А я почему знаю? — пожала плечами продавщица и, глядя на Малышкина, начала надувать губами жевательную резинку. Вскоре она разрослась до размеров небольшого детского воздушного шарика и, издав хлопок, лопнула.

Иван Алексеевич не стал покупать, как он выразился, «кота в мешке» и перед тем, как уйти, подзвал к себе продавщицу. Та протянула к нему через прилавок голову, и Иван Алексеевич наклонился к ее уху.

— Дочка, ты штанишки-то себе новые купи, а то эти совсем разорвались на колленках, да к тому же они тебе малы стали. Попку-то всю почти видно было, когда ты на стул встала. И семечку с губки сними, а то сама-то вон какая красивая, а семечка засохшая всю твою красоту портит,— почти шепотом проговорил Иван Алексеевич.

— Да вы что? — засмеялась продавщица.— Сейчас так модно брюки носить, а это не семечка, а пирсинг, его тоже носить модно.

«Это что же за мода такая пошла? В рваных штанах ходят, да к тому же перстни в губы, как дикари, вставляют! Неужели родители не видят, что их детки, словно мартышки в зоопарке, голые задницы людям показывают? Взять бы вожжи, да во-

жжками теми по их голым задницам отшлепать. Совсем стыд потеряли. И вправду в народе говорят: бес показал моду, а сам похихикал и нырнул в воду,— мысленно рассуждал Иван Алексеевич, отойдя от прилавка.

В вестибюле торгового центра он увидел парня, который был одет в яркую красную рубаху, голубые шорты и желтые в полоску гольфы. Обут он был в белые кроссовки, на его голове была надета светлая летняя кепка, из-под которой выбивалась длинная черная косичка. На мочках его ушей блестели серьги. Но не серьги привлекли внимание Малышкина и не заплетенная косичка. Парень был в наушниках, от которых шел тонкий провод с колесиком для регулятора громкости.

— Молодой человек,— обратился к нему Малышкин,— скажи, пожалуйста, где ты такие наушники с колесиком купил?

Парень медленно повернулся к Ивану Алексеевичу. Его глаза были наполовину прикрыты веками, и Ивану Алексеевичу показалось, что парень стоя засыпает. Он немного приподнял веки и взглянул на Малышкина полусонным взглядом.

— Тебе, дед, чо, колеса нужны? — как-то неестественно, словно нараспев, спросил парень.

— Нет, мне нужны не колеса, а наушники с колесиком, как у тебя,— проговорил Малышкин, указывая на наушники.

— Тебе чо, всего-навсего одно колесо нужно? — спросил парень и его глаза вновь начали слипаться.

— Ты меня не понял...— начал было объяснять парню Малышкин, но его перебил подошедший к ним другой молодой человек.

— Чего тебе, старче? — также нараспев спросил он.

— Прикинь, Гарик, этому деду колеса нужны,— медленно проговорил парень с наушниками.

— Я у твоего друга хотел узнать, где он наушники с колесиком купил, а он меня не понял,— начал объяснять Иван Алексеевич подошедшему Гарику.

— Ты что, старче, из ментуры? — оглядываясь по сторонам, спросил Гарик.

— Я из Косолаповки. Мой внук Мишка хочет такие же наушники, как у твоего друга.

— «Косолапый» — это погоняло такое или фамилия? Что-то я не знаю такого Мишки,— проговорил Гарик.

— Да нет, ты тоже меня не понял. Мишка — это мой внук, а Косолаповка — это моя деревня.

— Гарик, что-то я никак не доеду, чо этому деду от нас нужно? — произнес парень в наушниках.

— А тут и ехать никуда не надо,— проговорил Гарик, обращаясь к своему другу. — Старик нам тут про Мишку Косолапового пургу гонит, а у самого на уме свои порожняки — яму он хочет засыпать. Я тебе сразу сказал, что этот старик из ментуры,— подытожил Гарик и, схватив своего друга за рукав, потащил его к выходу. — Пошли отсюда.

«Какие-то парни странные»,— подумал Иван Алексеевич и вышел из супермаркета. На улице стоял удушливый запах горячего асфальта, автомобильных выхлопных газов и чадающих заводских труб. Мимо него медленно и не обращая ни на кого внимания, обняв друг друга, прошли Гарик и парень в наушниках. «Тьфу!» — сплюнул Иван Алексеевич то ли от того, что вдохнул в себя едкий городской воздух, то ли от увиденного, и круто развернувшись, зашагал в сторону автовокзала.

Спустя три часа Иван Алексеевич Малышкин вышел из автобуса на своей остановке и, пройдя вдоль леса, остановился на опушке. В воздухе пахло свежестью деревьев, скошенным сеном, медом и спелыми наливными яблоками. Внизу под косогором шелестела своими лазурными водами тихая речка Кукуевка, на берегах которой раскинулась его родная деревня Косолаповка.